



София Гротеволь

**Там, где цветут  
нарциссы**

18+

София Гротеволь

**Там, где цветут нарциссы**

«Автор»

2026

## **Гротеволь С.**

Там, где цветут нарциссы / С. Гротеволь — «Автор», 2026

Восемнадцатилетняя Марлена, студентка-филолог, вступает в конфликт с сорокалетним профессором Григорием Левиным – холодным, властным, интеллектуально опасным. То, что начинается как столкновение характеров, перерастает в мучительную связь, где границы между учителем и ученицей, любовью и зависимостью, подлинностью и разрушением стираются.

Одновременно Марлена пытается справиться с шантажом однокурсника Юры, который угрожает обнародовать компрометирующие фото. В поисках спасения она уезжает в Италию, выходит замуж за надежного Янека – но лед в её сердце оказывается сильнее солнечного света. Роман-исповедь женщины, которая навсегда осталась пленницей первого, самого острого чувства, размышление о любви как форме неисцелимой зависимости, о памяти как единственном убежище, о невозможности полюбить заново, когда внутри всё застыло.

© Гротеволь С., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Глава	5
1	7
2	12
3	16
4	23
5	29
6	32
7	38
8	43
9	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# София Гротеволь

## Там, где цветут нарциссы

### Глава

*Посвящено Олегу,  
любовь к которому я буду вечно хранить в своем сердце.*

*«Да будет во мгле  
Для тебя гореть  
Звездная мишура...»  
И. Бродский*

\*\*\*

Я медленно встала со своего места, направившись к кафедре под звуки аплодисментов. Сегодня меня вновь пригласили читать лекцию по американской литературе. Забавно, учитывая, что вся моя жизнь была связана с немецкой классикой – Гессе, Томасом Манном, Ницше. Я с детства грезилась Австрией, Германией, мечтала увидеть швейцарские Альпы, почувствовать их воздух, пропитанный тишиной и покоем, так непохожими на шумную и слегка хаотичную Москву, в которой я оказалась почти случайно и живу уже много лет одна, с тех самых пор, как поступила в университет. Но теперь я стояла перед студентами и рассказывала им про Эмерсона, Торо, Дугласа, Уитмена с его пронзительным «О Капитан! Мой Капитан!», про Хоторна, Мелвилла, Твена и Бичер-Стоу, да и в принципе про Американское Возрождение, которое, в прочем то, уважаю, как истинный писатель и филолог. И всё это было мне близко и дорого, как бывает дорого то, что выбрал не сразу, а спустя время. Я чувствовала себя на своём месте. В этой аудитории, среди двадцатилетних девушек и пары парней, я была собой – тридцатилетней женщиной, чей жизненный путь сложился так, как она и не думала. Я смотрела на этих молодых людей и размышляла о том, кто из них через десять лет будет стоять вот так же перед очередными студентами, а кто забудет всё это, выбрав что-то совсем другое, далёкое от литературы и искусства. Я действительно мечтала об этом моменте: стоять перед учениками, вспоминая, как раньше была на их месте, рассказывать о том, что люблю, бесконечно твердить интересующимся о том, кто меня вдохновлял на этот путь, и как я в итоге оказалась здесь. Осматривая зал краем глаза я заметила силуэт мужчины, стоявшего в углу, куда не падал свет свисающей над нами люстры. «Неужели, он?» – подумала я, но тут же одернула себя. Прошло уже двенадцать лет, а я зачем-то цепляюсь за ушедшее, о котором вспоминать не стоит. Да и сам он говорил мне: «Для тебя это совсем не должно иметь значение», и я обещала себе, что не будет. Но каждый раз, говоря ему, что мне «плевать», мое сердце разрывалось от боли. Оно жалело, что тогда ничего не получилось, что не узнало правду с самого начала, и оно точно знало, что еще как минимум двенадцать лет будет продолжать надеяться.

После лекции я вернулась домой, где на столе уже стоял ужин, приготовленный мужем. Он любил мои итальянские корни, пытался радовать меня пастой, лазаньей или ризотто – блюдом, которое я так и не научилась любить, хотя никогда не говорила ему об этом. Мой отец обожал его, считал, что я нашла лучшего мужчину на свете, и спорить с этим не хотелось, потому что это было правдой. Но счастье не зависело от правды, и моё сердце всегда оставалось

где-то в прошлом, с другим мужчиной, который исчез из моей жизни слишком давно, но так и не освободил ее. Я привыкла жить одна, привыкла не делиться сокровенным даже с младшей сестрой, Аннет. Наши отношения всегда были сложными, поверхностными, несмотря на то, что в нас текла одна кровь. Аннет казалась мне слишком простой, открытой миру и чужим людям, тогда как я вечно пряталась за книгами, словами, чужими сюжетами и собственными текстами. Мой муж помог мне открыть собственное издательство, я погрузилась в работу, преподавание, литературу, думала, что смогу заполнить пустоту этим. Но пустота была слишком глубока, слишком велика. И что бы я ни делала, изменить это было уже невозможно.

Я знаю, что, наверное, не стоит постоянно возвращаться к прошлому. Говорят, воспоминания имеют свойство обманывать нас, и со временем мы начинаем верить в то, чего никогда не было. Но именно сейчас, в тёплом свете кухни, среди запаха свежей пасты и вина, которое терпеливо ждало меня в бокале, мне захотелось вспомнить всё заново. Возможно, просто чтобы наконец избавиться от этого тяжёлого ощущения недосказанности, которое преследует меня уже слишком много лет. И, возможно, рассказав свою историю хотя бы себе самой, я смогу наконец понять, как так вышло, что я оказалась здесь.

# 1

Второй семестр первого курса начался для меня внезапно. Январь прошел почти незаметно, сессию я сдала успешно, но отдыха явно не хватало. Тем не менее, я предвкушала начало чего-то нового, неизведанного, я любила место, где училась, но времени на саму себя почти не оставалось, иногда я думала бросить все, пойти работать: наливать кофе людям, которые уже всего добились и могли позволить себе триста миллилитров бодрящего напитка за почти пятьсот рублей. Но каждый раз, размышляя об этом, я вспоминала Арсения Андреевича, моего преподавателя литературы в школе, который помог мне найти свое призвание, и благодаря которому я сейчас изучаю именно филологию. Нас ждал новый период: романтизм. Любящая всей душой Гёте, который романтиков терпеть не мог, я предвкушала возможность вступить в дискуссию с будущим профессором. Мне всегда нравилось обсуждать книги, и по-доброму спорить о смыслах, особенно с людьми, которые разбирались в этом гораздо лучше меня. Лучший способ стать сильнее – играть с более сильным соперником, и это правило я перманентно применяла во всех сферах своей жизни. Я словно всегда шла против течения, даже когда не было никакой необходимости. Иногда думала, что причина моего упорства кроется где-то глубоко в детстве, в тех постоянных попытках доказать окружающим, что я имею право быть такой, какая есть, со всеми своими странностями, резкими углами и молчаливыми бунтами. Наверное, именно поэтому я так болезненно воспринимала любые попытки сломать моё «я», заставить меня молчать, прогнуться или притвориться кем-то удобным.

В школе, ещё до Арсения Андреевича, были другие учителя. Те, которые считали, что ученики должны быть послушными и молчаливыми, не спорить, не задавать лишних вопросов и, конечно же, не перечить. Я всегда выделялась на их фоне – не тем, что была умнее или талантливее других, а тем, что не умела сдерживать себя, если видела несправедливость или равнодушие. Однажды на уроке истории, ещё в восьмом классе, учитель грубо высмеял девочку из моего класса за то, что она запнулась, отвечая у доски. Никто тогда не сказал ни слова, класс замер, сжавшись от страха, и только я подняла руку, хотя сердце моё колотилось так сильно, что было слышно в ушах.

– Извините, но так нельзя, – сказала я тогда, почти шёпотом, чувствуя, как голос предательски дрожит. – Она старалась. Вы могли бы не унижать её.

После этого меня вызвали к директору, отчитал классный руководитель, а дома отец строго спросил, зачем я «влезла». Он не понимал, как можно было рискнуть своим комфортом ради чужого. А я не понимала, как можно было иначе. И пусть та девочка так никогда и не поблагодарила меня – наоборот, с тех пор она старалась обходить меня стороной, словно стыдилась того дня, – я всё равно чувствовала, что сделала правильно.

Теперь, стоя здесь, перед началом второго семестра, я вновь вспоминала тот случай. И знала наверняка, что так будет и дальше, я буду защищать тех, кого считаю несправедливо обиженными, даже если это доставит проблемы мне самой. Это была не гордость и не юношеский максимализм, а скорее принцип, который стал для меня единственным способом существовать в ладу с собой. Не предавать себя и своих убеждений. Но даже я не могла представить, как скоро придётся столкнуться с ситуацией, где этот принцип будет проверен на прочность, и что вызов бросит мне не кто-то из ровесников, а человек намного старше, авторитетнее, и, возможно, куда более опасный в своей уверенности и надменности. И всё же я надеялась, что в этот раз всё будет иначе, что обойдётся без конфликта, что мне не придётся снова бросаться на защиту кого-то, кто даже не поймёт, зачем я это делаю. Надеялась, хотя где-то глубоко внутри уже знала: я не отступлю, если понадобится. Никогда.

Я помню, как в ту зиму Москва казалась особенно туманной, будто весь город прикрыли серой вуалью. Утром я просыпалась в полутьме – не ночной, не утренней, а в какой-то зыбкой,

промежуточной тени, где всё теряло чёткие очертания. В такие дни хочется спать бесконечно, как будто сны – это единственное место, где тебе действительно что-то позволено. Я пила чёрный кофе, глядя в окно, где снег медленно опускался на улицы, как пыль на старые книги. Иногда мне казалось, что он не падает, а просто появляется, беззвучно и бесповоротно. Мой путь в университет лежал через сквер с тонкими деревьями и длинными скамейками. На одной из них сидел старик с книжкой, он появлялся там каждое утро, в любой мороз. Я никогда не видела, чтобы он переворачивал страницу. Иногда я думала: может быть, он просто держит её, как щит от мира. Или как фотографию прошлого, которую боишься перечеркнуть движением. Было в нём что-то утешающее. Не из-за улыбки, он почти никогда не улыбался, а потому что он просто был. Мне всегда нравились такие моменты. Когда ничего особенного не происходит. Когда город живёт своей жизнью, и ты в нём – просто тихий наблюдатель. В такие утренние часы я ощущала, что принадлежу себе и никому другому. Ни оценкам, ни чужим ожиданиям, ни спешке, ни обязательствам. Только себе, и ещё – какой-то лёгкой печали, как будто прошлое дышит тебе в затылок, не делая ни шагу ближе.

Я шла в корпус, вдыхая холодный воздух. Он жёг лёгкие, будто напоминание: ты живая, ты здесь. Вокруг смеялись студенты, кто-то пил чай из термоса, кто-то ругался по телефону, кто-то бежал, теряя перчатки. Я чувствовала себя киноплёнкой, на которую накладывают кадры чьей-то чужой жизни – одновременно внутри и в стороне от происходящего. И, может быть, именно поэтому я так жадно ждала начала нового предмета. Хотелось истории, драмы, хоть какого-то ощущения сюжета. Не просто учёбы, а чего-то, что заставит сердце стучать не от паники, а от смысла.

В этот день, 6 февраля, через два дня после моего восемнадцатилетия, литература стояла первой парой, а значит, моя подруга как обычно опоздает на пол урока. Ее звали Ника, я любила ее непосредственность, легкость и умение найти подход к моему порой сложному характеру. Она знала, как меня успокоить во время приступов сильной агрессии, знала, как утешить меня в минуты печали, умела развеселить меня, строгую, лишённую чувства юмора, и за это я обожала ее присутствие в своей жизни, а главное, она никогда меня не боялась. Я вспомнила, как в самый первый день учёбы стояла у окна, прижав рюкзак к груди, не решаясь подойти к группе девчонок, громко смеявшихся и обсуждавших какую-то вечеринку. Я чувствовала себя нелепо, чужой, будто попала не в университет, а в чей-то чужой сон, где мне не нашлось места. И вдруг рядом оказалась она – Ника. Весёлая, уверенная, в короткой куртке и с запахом карамельных духов, она просто подошла и сказала:

– У тебя очень красивая татуировка. Ты читаешь Бродского?

Я кивнула. Она улыбнулась, наклонив голову:

– Я не всё понимаю, но мне нравится, как у него даже боль как будто вымерена на весах. Уравновешенная. Ну, как ты. Ты вообще уравновешенная?

Я рассмеялась впервые за весь день. С тех пор она как будто вселилась в мою жизнь – шумная, теплая, неуместная в самом лучшем смысле этого слова. С той встречи я решила, что никогда не оставлю её в беде. Даже если буду дрожать от страха. Даже если придётся выступить против преподавателя, которого побаивается вся группа. Ника стоила этого, она была моим человеческим убежищем, моей самой мягкой бронёй. Как обычно, я сидела, заняв места, на последней парте, и ожидала преподавателя, который, по слухам, был слишком строгим. В кабинет, в момент, как я только об этом подумала, вошел мужчина лет сорока, с темными волосами, высокий, и что особенно бросилось мне в глаза, так это его синие глаза, отдающие оттенком мокрого пепла. Он был одет официально, строго: черная рубашка и брюки, заостренные туфли, серебрянные часы на запястье, видимо, чтобы показать свой статус, кольцо-печатка и коричневый портфель в левой руке. Он надменно осмотрел нас, студентов, и мне показалось, что он ощущал себя зверем, загнавшим свои жертвы в ловушку. Что должно было случиться с человеком, чтобы он смотрел на студентов – тех, кто лишь пытался разобраться в жизни – с таким

холодным превосходством? Наверное, он просто давно забыл, каково это – быть на нашем месте. Или слишком хорошо помнил. Иногда высокомерие – это просто туго завязанный шарф, скрывающий старую рану. Такую, которую уже нельзя вылечить, но и показывать – стыдно. Я украдкой всматривалась в него: в его сдержанную строгость, в чёткие линии костюма, в то, как он держал папку, крепко, как будто она была чем-то большим, чем просто бумагами. Может, это был его щит. Как у того старика – книга. Может, каждый человек, стремящийся к идеальной форме, внутри прячет невыносимую неоформленность. В нём не было ни капли спонтанности. Ни одной неуместной эмоции. Всё как будто выверено циркулем. Но что он прячет за этим выверенным молчанием? Возможно, ему действительно доставляло удовольствие видеть, как мы молчим, цепенеем от страха, стараемся не дышать громко. Или он просто иначе не умел. Может, его научили так – быть сильным значит быть недоступным. Я не знала. Но что-то в нём уже тогда тянуло к себе, как тянет книга, в которой слишком много белых страниц. Ты не знаешь, что будет дальше, и от этого только сильнее хочется читать. Мужчина презрительно усмехнулся, начав осматривать моих однокурсников по одному, и когда его взгляд остановился на мне, я поняла, что семестр предстоит быть нелегким. Он уставился на татуировки на моем предплечье, там были вырезаны стихи Бродского: «Смерть придет, у нее будут твои глаза» и «Я был счастлив здесь и уже не буду». Я любила этого поэта за его ледяную искренность, за стихи, в которых боль звучала как музыка – сдержанно, благородно, будто бы через стекло. За то, как он умел называть одиночество не бедой, а формой свободы. За то, что его слова были не криком, а эхом – долгим, упрямым, отчаянно умным эхом, от которого не возможно было спрятаться. Преподаватель отвел взгляд, ничего не сказав. Меня поразила его харизма, он не был привычно красивым, но энергия у него была пожирающая, поглощающая, и это пугало. Он не сказал ни слова, но в аудитории стало невероятно тихо, будто мы находились в изолированной комнате, каждый страшился издать любой малейший звук, и переглядывались мы незаметно, чтобы не дай Бог этот убийца не заметил наши глаза, в панике пытающиеся найти поддержку друг у друга.

– Меня зовут Григорий Михайлович Левин, я доцент кафедры зарубежной филологии, и я буду вести у вас романтизм в этом семестре, – начал он, – знайте, автоматов не будет, все пойдет на экзамен без исключения, список литературы должен быть прочитан «от и до»...

Григорий Михайлович не успел закончить, как ворвалась Ника, запыхавшаяся, видимо по той причине, что бежала по лестнице, весело прощепетав что-то вроде «здравствуйте», она, на своих стучащих каблуках, подбежала ко мне, поцеловав три раза в щеки. Пока мужчина молчал, презрительно уставившись на новую студентку, она полупшепотом рассказывала мне о том, как бежала в вуз, пропустила автобус, и ей, моей бедняжке, пришлось двадцать минут идти пешком. Преподаватель все еще не проронил ни слова, мне казалось, он чувствовал удовольствие от предстоящего выговора, и его совсем не волновало поведение Ники, это просто был еще один повод продемонстрировать свое величие, а я испуганно смотрела на свою подругу, пытаюсь подать ей знак, что ей лучше замолчать, но она не понимала и продолжала с улыбкой на лице шептать мне свои истории.

– Девушки, я вам не мешаю? – строго и почти грубо произнес мужчина.

– Что вы! Простите пожалуйста! Я не хотела отвлекать вас! – прощепетала моя подруга, и я внутренне улыбнулась ее стойкости.

– Не удивительно, Вы слишком легкомысленны, чтобы задумываться о таких вещах, как литература, и иметь совесть не срывать урок.

Меня возмутила его заносчивость и презрительность к чувствам других людей. Не знаю, что на меня нашло, но я резко встала со своего места, вскипая от гнева, и все не решалась что-либо сказать. Я отчаянно пыталась подобрать правильные слова, чтобы не звучать слишком грубо, но при этом защитить мою Нику, которая в силу своей наивности, иногда не понимает простых вещей, но это не делает ее плохой, и мне хотелось это доказать.

– Вы что-то хотите сказать? Простите, как...

– Марлена. Да, я хочу сказать. Мне кажется, Вы путаете дерзость с живостью, а легкомыслие – с искренним интересом. То, что кто-то не подходит под Ваши стандарты поведения, не делает его глупым или недостойным. Ника не срывала урок, Вы спокойно могли продолжить свою наиважнейшую речь, не обращая на нее внимание. Она просто человек – с эмоциями, реакцией, страхами. И Вы могли бы, как преподаватель, увидеть в этом повод не продемонстрировать свое превосходство, а поддержать, или хотя бы – промолчать.

– Разрешите Вас перебить, Марлена. Вы, видимо, перепутали урок литературы с кружком взаимной поддержки. Здесь не детский сад. Ваша подруга вела себя неуважительно – болтала во время пары. И она не имеет никакого права мешать занятию. Если вы обе считаете, что эмоции важнее дисциплины, то, возможно, вам стоит пересмотреть, зачем вы вообще приходите на мои лекции. Я преподаю литературу, это не сессии с психологом.

Я не нашла, что ответить. Негативные эмоции переполняли меня. Я точно не ожидала, что первая пара пройдет именно так. Все полтора часа я почти не слушала, во мне были лишь переживания и тревога о будущем: как же я теперь сдам этот предмет? Я любила романтизм, любила книги, но после такой сцены отличная оценка меня точно не ждала. И я уж точно не хотела извиняться перед этим павлином, подлизываться или пытаться угодить. Видимо придется воевать: за право не молчать, за уважение к себе и к тем, кто рядом. За то, чтобы учиться не из страха, а из любви. Я вышла из аудитории с горящими щеками и с единственным ощущением в груди – я еще скажу свое слово. Обязательно. Но в другой раз. Когда перестану дрожать.

– Мара, зайка, спасибо, что заступилась за меня! Не стоило на самом деле! Он просто индюк! – Ника подбежала ко мне, приобняв сзади.

– Он просто вывел меня из себя! Этот семестр обещает быть не самым лучшим. Но Боги, какой же он надменный!

В тот момент я не заметила Григория Михайловича, проходившего рядом, и не знала, что он все услышал. Григорий Михайлович шел мимо неторопливо, как всегда, с этой своей сухой, выверенной походкой человека, уверенного в собственном превосходстве. Он не посмотрел в нашу сторону, не сделал ни единого замечания – просто прошёл, будто бы мимо. Но взгляд... взгляд у него был стальной, цепкий, и я почувствовала его на себе, как сквозняк по коже. Мы с Никой замолчали почти одновременно. Всё внутри меня сжалось.

– Ты думаешь, он... – начала было она, но я уже знала.

– Да, – кивнула я. – Думаю, он всё понял. И запомнил.

На душе стало тяжело. Будто я случайно открыла окно в чужой шторм – и теперь не знала, как его закрыть. Мне хотелось казаться сильной, смелой, способной постоять за правду. Но вместо этого я чувствовала себя глупо и уязвимо. Я посмотрела на Нику – она всё ещё улыбалась, как будто ничего страшного не произошло. А я вдруг осознала, что последствия наших слов – это теперь моя личная история. Что всё сказанное больше не исчезнет, не отмотается назад. Я сделала глубокий вдох и выдох.

– Ну что ж, – сказала я, уже себе. – Придётся держать слово. Война так война.

Я расправила плечи, как могла, и пошла к выходу – теперь уже не дрожащая, а будто бы немного взрослее. Казалось бы, ничего сверхъестественного не произошло, я все еще была студенткой, да и такие стычки с преподавателями случаются часто. Но мне хотелось истории. Мне хотелось драмы. Я жаждала быть главной героиней этого романа. И где-то там, в голове, всё ещё звучал голос Левина, резкий, жёсткий. Я решила: он не будет последним, кого я услышу в этой истории. Это моя история. За моей спиной стихли голоса, коридор вытянулся вперед, пахнувший зимними куртками, батареями и грифелем. Все, что произошло, уже нельзя было забыть, и я чувствовала – это только начало.

Но одновременно с этим странным ощущением «начала» во мне жила другая, тихая, почти незаметная мысль. А что, если я всё испортила? Что, если это была не сила, а просто

глупое упрямство? Что, если моя вспышка окажется ничем, кроме подросткового бунта, который все забудут, кроме меня самой? Что, если он – этот человек с пепельными глазами и голосом, способным одним тоном обрушить внутреннюю стену – теперь просто поставит на мне крест? И всё, что я так любила, – книги, романтизм, преподавание – превратится в враждебную территорию, где меня будут выжигать медленно, без слов, одним молчанием? Я впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему одинокой. Не потому, что рядом не было людей, а потому что внутри началась война, и никто, кроме меня, не знал о ней. Даже Ника, даже мама, даже Гёте со своей «мукой страсти» – никто бы не понял.

Я выдохнула. Нет, я не была уверена, что справлюсь. Вообще ни в чём не была уверена. Кроме одного – возвращаться назад уже невозможно. Я перешла невидимую черту. И теперь мне предстояло научиться не просто говорить, но выдерживать тишину, которая приходит после. Я шла по коридору и чувствовала, как в моих руках гулко пульсирует кровь. Странно, но я поняла, что хочу жить. Не выживать, не терпеть, не быть удобной. А именно жить. Даже если ради этого придётся потерять что-то. Или кого-то. И, может быть, даже себя прежнюю.

## 2

На следующий день все мои однокурсники уже благополучно обсуждали мой будущий экзамен, а именно тот факт, что Левин просто не позволит мне его сдать на отлично. Как это обычно и бывает, кто-то был приятно удивлен моей наглостью, а кто-то осуждал, действительно соглашаясь с профессором в том, что Ника была выскочкой, ну или просто они пытались таким образом поднять свой авторитет в глазах этого павлина, будучи уверенными, что за общие взгляды он им нарисует «отлично».

Григория Михайловича я уже видела сегодня в коридоре. Я вежливо поздоровалась с ним, попытавшись выдать хоть какую-нибудь улыбку, но, видимо, получилось у меня откровенно плохо, потому что Левин не то, что не ответил, а даже не посмотрел в мою сторону. Он все также выглядел надменно, и кажется, я даже заметила, как дернулись его губы в презрительной усмешке. Снова. Я уже предвещала какое-то наказание: будь то насмешка, унижение, или просто игнорирование меня как студентку. Все во мне тревожилось, и от этого я почти ощущала физическую боль в груди, мои руки слегка дрожали – к сожалению, я всегда реагирую слишком эмоционально на такие вещи. Иногда мне казалось, что я просто не создана для этого мира, для этих серых коридоров, холодных лестниц и людей, которые так ловко прячут чувства за иронией, за рутинной, за высокомерной уверенностью в себе. Я мечтала говорить о любви, о страхе, о тоске по настоящему, а вместо этого училась не показывать, что мне страшно. Училась не дрожать, когда кто-то смотрит слишком пристально. Не краснеть, когда голос срывается. Училась быть «выдержанной». Но зачем всё это, если я стану такой же, как они: молчаливой, закрытой, всегда готовой осмеять любую искренность? Я ведь пришла сюда не за тем, чтобы прятаться. Я пришла, чтобы говорить, чтобы кто-то услышал. Чтобы кто-то, может быть, узнал себя в моих словах. Чтобы понять, что я не одна в своих сомнениях. Но если я сейчас замолчу, если проглочу и этот день, и это унижение, тогда зачем я вообще здесь? Может, я ошиблась. Может, мне не место среди них. Но, чёрт возьми, я хотя бы попробую. Потому что, если молчать, становится невыносимо. А если говорить – страшно. Но разве не в этом и есть настоящая борьба? Мне ведь совсем не хотелось портить ни с кем отношение, и уж тем более с преподавателем по профильному предмету. Более того, я действительно ждала этой дисциплины, и даже надеялась принять участие в конференции, рассказать про романтизм, но мечты разрушились, причем буквально в первые двадцать минут первого урока.

Ники сегодня не было, после вчерашнего она решила на время пропасть из поля зрения Левина, и, наверное, мне стоило бы поступить так же, но это означало сдать, а проигрывать ему мне не хотелось. Я думала позвонить ей, сказать, что всё было не зря. Что я всё выдержала. Что я не дрогнула. Но я не могла – внутри всё ещё звенело, будто меня ударили чем-то резиновым, что не оставляет синяков, но отзывается болью на каждом вдохе. Я не хотела, чтобы она услышала это в голосе. Я слишком хорошо знала, как она умеет чувствовать. Услышала бы, даже если бы я молчала. А я пока не была готова к этому «ты в порядке?». Я бы не соврала, но и не справилась бы с правдой. По крайней мере, мне нельзя было показывать свой страх, хотя он переполнял меня с ног до головы. Я старалась держаться прямо, ни с кем не говорила, потому что боялась, что мой голос вдруг задрожит и я не смогу сдержать слезы – столь сильное было напряжение у меня внутри. Григорий Михайлович зашел в аудиторию, все такой же возвышенный, презрительный, коротко кивнув он прошел к кафедре, оглядев нас все так же язвительно. За окнами мокрый снег тяжело оседал на голые ветви. В углу аудитории мигал старый проектор, его стекло было в пыли, а шнур напоминал змею, свернувшуюся в комке на полу. От батарей шёл сухой, неприятный жар, и воздух казался скомканным, как простыня после ночного сна. Я чувствовала запах чего-то приторного – кто-то ел конфету из апельсиновой карамели, и он странно смешивался с запахом книжной бумаги. Смотря как он включает

презентацию, я осознавала то, что он понимает и видит мою тревожность, и будто специально делал все медленно, чтобы я все больше сгорала от нетерпения, а следственно и от волнения.

– Пройдемся быстро по вводным вопросам. Романтик – это протестующий или потерявшийся?

Все молчали. Я могла ответить, но боялась. Левин молчал, испытующе смотрел на нас, ожидая хоть какого-то действия: поднятую руку, сомнение в глазах, или мычание на последней парте.

– Что ж, раз уж по имени я знаю здесь только Марлену, то прошу, Вы и отвечайте. – обратился он ко мне.

– Мне кажется, романтик – это потерявшийся, – начала я, мой голос все еще был слабым, не знаю, право, чего я так боялась, – Он просто не принимает готовых ответов. Он блуждает, потому что ищет нечто настоящее – любовь, свободу, истину... а мир не предлагает ничего, кроме компромиссов. Потерянный – значит не примирившийся.

– Красиво звучит. Даже трогательно! – иронично ответил Левин, – Только вот потерянный не всегда ищущий. Иногда он просто потерянный.

Наступила пауза. Я размышляла над его словами, он усмехнулся, и оглядев меня снизу вверх, добавил:

– Вы серьезно считаете, что метание – это добродетель? Что героизм начинается с дезориентации?

– Я считаю, что сомнение – первый шаг к свободе, – спокойно, но с вызовом произнесла я, – А уверенность – не всегда достоинство.

– Сомнение как форма добродетели – интересная концепция. Осталось только научиться сомневаться не вслепую, а с умом, – он медленно подходил к моей парте, будто лев, который вот-вот в клочья разорвет антилопу, – А романтик у Вас, выходит, такой... бродяга с миссией? Почти святой с картой, которую сам же выкинул?

– Он просто отказывается идти по чужой тропе. Даже если не знает, куда ему нужно держать путь.

– Значит, он не протестует. Он капитулирует. Потому что настоящий протест – это четкая позиция, а не поэтическая бредня в лесу под луной.

– А поэзия, по Вашему, Григорий Михайлович, не может быть позицией?

Он молчал, уставившись на меня. Будто думал о моих словах и вспоминал что-то свое. И вдруг лёгкий, почти незаметный сбой в его лице. Как если бы игла проколола поверхность воды, и круги пошли слишком ровно. Взгляд его потух, стал каким-то отдалённым, будто он на секунду ушёл внутрь себя – в темноватую комнату с пыльными книгами, чьим-то голосом, давно забытым, но всё ещё звучащим откуда-то из-под корки. Я не могла понять, что это было – раздражение, сомнение, тоска? Или, может быть, всего понемногу. Что-то мягкое, но колючее дрогнуло в его глазах, будто моя фраза вывела его из равновесия, пусть всего на пару вдохов. Он слегка повёл плечом – жест, который не имел смысла, но почему-то казался важным. Как если бы хотел стряхнуть с себя не мысль, а чьё-то прикосновение. Или запах, который вернулся слишком вовремя.

А потом он снова стал Левиным. Холодным, собранным, идеально отцентрированным. Будто снова навёл резкость. И я почувствовала, как щёлкнул замок – не внешний, а тот, который закрывает память. Мысли его снова застегнулись на все пуговицы. Ни один звук больше не просочился наружу. Только:

– Может. Но очень редко.

И он отвернулся.

Я поняла, что дискуссия была закончена. После моего ответа остальные студенты уже не боялись высказывать свое мнение. Профессор уже не спорил с ними, лишь кивал, и иногда

добавлял что-то свое. Я почти не слушала – открыла «Страдания юного Вертера», чтобы перечитать это произведение, и вспомнила себя два года назад.

Десятый класс, новая школа, я очень боялась вступать в новое общество, но мне пришлось сделать это почти в конце года из-за переезда. Я мечтала быть юристом, или адвокатом, хотела изучать уголовное право, такой путь, самый правильный, как мне тогда казалось, был мною выбран. В первый день на новом месте, я совершенно случайно попала на урок профильной литературы. Это была хорошая школа, где мы могли выбрать, на каком уровне будет учить тот или иной предмет. Я не планировала учить литературу углубленно, но волей случая мне посчастливилось попасть на лекцию к Арсению Андреевичу. Моя жизнь разделилась на «до» и «после», мы обсуждали Чехова, и я поняла, что вот то дело, вот моя миссия, мое призвание. В этот же день я полностью поменяла план на дальнейшую жизнь, и это привело меня на филологический факультет. Арсений Андреевич стал мне другом, Гете я полюбила благодаря ему, как и Гессе, Шиллера, Бродского, и многих других великих людей, которые отдали свою жизнь книгам, поэзии и писательству.

Из размышлений меня пробудил университетский звонок. Собрав вещи в сумку, я почти выбежала из аудитории. В коридоре было полутемно, лампы над дверями мигали, будто доживали свой срок. Пол покрывали разводы от мокрых ботинок, кто-то оставил тетрадь на подоконнике, и листы её шевелились от сквозняка. К моему сожалению, из-за своей невнимательности столкнулась с Юрой. Это был высокий молодой человек, напоминавший скинхеда, и будучи сама почти сто восемьдесят, я удивлялась росту этого парня. В первом семестре у нас были очень странные взаимоотношения, впрочем, сейчас мы почти не разговариваем. Юра, как мне кажется, ненавидит меня, и постоянно находит повод оскорбить или посмеяться. Иногда мне кажется он делает это не просто так. Как будто что-то в прошлом не даёт ему спокойно пройти мимо. Или, может, мне просто хочется думать, что всё это не из простой злости. У нас была... странная история. Не та, о которой хочется вспоминать. Не та, которую можно легко объяснить. Мы почти не разговариваем сейчас, но иногда я ловлю его взгляд – и в нём, как ни странно, нет ни злости, ни презрения. Там что-то другое. Как будто он всё ещё держит во рту слова, которые однажды не сказал. Или сказал, но слишком поздно. Я не хочу в это погружаться. Не сейчас.

– Осторожнее, малышка, – протянул он, отступая, но не убирая руки. – Ты сегодня такая боевая. Даже на Левина замахнулась. У нас тут, что, новая Жанна д'Арк?

– Отойди, Юра, – сказала я устало, не желая устраивать сцену в коридоре.

– Что ты, не бойся. – Он все еще улыбался. – Я только спросить. Ты всерьез думаешь, что Левину интересно, как ты там ищешь истину? Ему бы твой энтузиазм, на чай да под плед.

– Юра... – я напряглась. – Перестань, прошу.

Он подался ближе, его голос стал чуть тише, но и злее:

– А может, ты просто решила показать себя, раз в школе из тебя звезда раньше не вышла? Думаешь, романтики – это про тебя? Не смейся.

– Юрий, – раздался голос за спиной. – Мы здесь учимся, а не выясняем чьи-то биографии.

Мы обернулись. Левин стоял у стены, облокотившись на нее, будто наблюдал за нами с самого начала.

– Если Вам, – он холодно глянул на Юру, – хочется самоутвердиться за счет тех, кто вас не боится, советую поискать публику попроще. Здесь – аудитории для семинаров. Не арена.

Юра отвернулся, пробормотал что-то вроде «да ладно» и пошел прочь, будто ему было вовсе все равно на замечание, но я видела: он испугался.

Левин не посмотрел на меня. Просто кивнул и прошел мимо. Его защита была почти безличной, как будто он просто соблюдал порядок – и все. Но мне было достаточно. Я знала, что он вмешался не ради меня – но все же вмешался. Холодно, формально, как заведено у таких, как он. Главное, не обольщаться. Это не жест. И уж тем более не забота. Он просто не

терпит шума вокруг себя – и я сейчас была частью этого шума. Он первый, кто обрушится на меня, если я оступлюсь. Здесь не будет дружбы, не будет хорошего отношения, здесь будет война.

Я нашла в себе силы и направилась в читальный зал. Здесь было прохладно, место пропахло книгами, мне нравилось находиться в этой атмосфере, которая так подбадривает и мотивирует меня. Здесь я действительно ощущала спокойствие, здесь было безопасно. Над головой тихо гудела старая лампа, от неё падал тёплый свет, и он разливался по страницам книг, как чай в фарфоровой чашке. Кто-то рядом тихо перелистывал страницы. На подоконнике стоял забытый стакан с заваркой – светло-коричневая пленка покрывала поверхность, в ней отражалось жёлтое небо за окном. Я дышала медленно, вдыхая аромат бумаги и пыли, как будто это был единственный воздух, который мне сейчас был нужен. Я машинально достала телефон и открыла старую переписку с Арсением Андреевичем. Мой первый учитель литературы. Не просто учитель – он научил меня думать, чувствовать, не бояться текста. И не бояться себя в этом тексте. Я долго не писала, мы не общались с тех пор, как я стала готовиться к сессии, но сегодня пальцы сами набрали:

– Здравствуйте! У меня сегодня был странный день. Тяжелый.

Минуту – ничего. Потом появилась «печатает...», и сердце глупо кольнуло.

– Привет, родная! Ну конечно, тяжелый. Это же начало. Ну как ты там? Во что влипла? Я улыбнулась. Захотелось заплакать от одной этой фразы. Ответила быстро:

– Новый преподаватель. Умный. Жестокий. Я пыталась спорить – он размазал меня одной фразой. Сказал, что поэзия – редкость, не позиция.

– А ты ему не верь. Просто улыбайся и пиши. Позиция – это не то, что надо доказывать. Это то, что выдерживаешь.

– Но он сильный. Я чувствую себя маленькой.

– Ты и есть маленькая. И это нормально. Но в тебе что-то есть, что не даст тебе сдаться. Я это видел. А он – ещё увидит. Или не увидит. И плевать, честно говоря. Главное – не растеряй себя в этой их важности.

Я смотрела на экран, будто он был живым. Родная. Он всегда так меня называл. Когда я писала первый свой анализ стихотворения, когда выступала на школьной конференции. Когда боялась. Он знал, как обнять словами.

Его последнее сообщение пришло через несколько минут:

– Пиши мне, если станет совсем плохо. Не чтобы я что-то решал, а просто чтобы ты не была одна в этом. Я рядом, даже если далеко. Ну и приезжай почаще сюда, в школу! Давно тебя не видел. Порадуй старичка!

Я крепко сжала телефон и прижала его к груди, как будто могла впитать через стекло ту уверенность, которой мне сейчас так не хватало. Он – один из немногих, кто не требовал от меня блистать, быть «особенной», гениальной, сверхчеловеком. Он не подталкивал меня к сцене, не просил доказательств, не сравнивал. Он просто видел. С самого начала – тихо, спокойно, терпеливо. Он умел смотреть на меня так, будто я уже есть. Уже значу. Уже стою. Никогда не обожествлял – и, может быть, именно поэтому я с ним не чувствовала себя крошечной. Он знал, что то, что я чувствую, думаю, пишу, – пусть не совершенное, но живое. И этого достаточно. Не для громкой победы. Не для аплодисментов. Но для того, чтобы идти. Чтобы не опустить руки. И в этом «достаточно» было столько любви, сколько мне никто не говорил словами.

Я убрала телефон, медленно встала, будто что-то уложилось внутри. Тепло от слов Арсения Андреевича ещё пульсировало под кожей, но я знала – оно не спасёт. Не завтра и не здесь. Всё только начинается. И этот университет, и этот Левин, и я сама – мы ещё встретимся в точке, где не останется ничего лишнего. Только суть и, наверное, боль. Я вышла в коридор. Свет за окнами гас, наступал вечер. Время возвращаться – туда, где никто не ждёт, домой.

### 3

Я обещала приехать к Арсению Андреевичу, и я исполнила свое обещание. Все-таки встретиться мы решили не в школе, в конце концов, между нами уже давно нет официально-деловых отношений, теперь мы просто хорошие, добрые друзья. День был холодным, мрачным, казалось бы, время было всего 14:00, но свет был тусклым, будто солнца вовсе не существовало. Под моими ногами все еще хрустел снег, но наступление весны все же ощущалось, я ждала ее больше всего на свете, как возрождение, после неминуемой гибели. Сухой воздух покалывал кожу лица и ладоней, пальцы мои краснели, и почти не могли двигаться. Февраль раньше ощущался иначе: тогда я была еще в школе, мы с Арсением пили горячий кофе, который я любила приносить ему перед парами, мы выходили курить, он всегда запрещал, но всегда сдавался и угощал сигаретой, причитая: «Не губи свое здоровье! Я переживаю». Во время таких перерывов мы обсуждали литературу, кинематограф. И почему-то одна из таких бесед вспомнилась мне именно сейчас, когда я была на пути к его уютному жилищу.

«— Вот ты кстати знаешь, что Тарковский вдохновлялся Сартром? — весело говорил тогда учитель.

— Да? Расскажите!

— Вообще, Тарковский часто позиционируется как такой... глубокий христианский мыслитель в кинематографе. Но вот скажи: в его фильмах есть отчетливое ощущение чего? — он смотрел на меня не как экзаменатор, а как соучастник.

Я подумала и чуть прищурилась:

— Экзистенциальной тревоги?

— Бинго. А экзистенциалист у нас кто? — играл он до конца, словно разыгрывая старую пьесу.

— Жан-Поль Сартр?

— Именно! — он щёлкнул пальцами и откинулся на спинку скамьи. — Он, конечно, не ссылался на Сартра прямо, но... если внимательно присмотреться — то все станет понятно.

Я смотрела на него и уже знала: сейчас начнется самое интересное. Он говорил, будто раскладывал шахматную партию — только вместо фигур были идеи.

— Сартр утверждал, что человек «обречён на свободу». Мы сами создаём свой смысл, но за это несём всю ответственность. А теперь вспомни “Сталкера”. Зону. Комнату. Желания.

Я кивнула.

— То, чего ты по-настоящему хочешь...

— ...сбывается. Только вот знаешь ли ты сам, что это — твоё настоящее? — он подался вперёд, и в глазах его мелькнул огонь. — Свобода — не столько в выборе, сколько в том, чтобы вынести его последствия.

— Это похоже на то, как Сартр говорил про самообман. Что мы часто притворяемся, будто нас «вынудили» поступить так или иначе, хотя на самом деле мы просто боимся выбрать.

— Умница, — мягко сказал он. — Вот это и есть суть. У Тарковского герои не просто страдают — они сталкиваются с собой. С настоящим собой. И не всегда выдерживают.

— А Сартр считал, что подлинность — это как раз жить, не убегая от этой встречи.

— Верно. Но подлинность — это больно. Всегда.

На какое-то время мы оба тогда замолчали. Всё ещё шёл снег. Мне казалось, что весь мир сжался до границ этой курилки, рядом со школой, до его голоса, до этих слов.

Он снова заговорил тише:

— Ещё одна точка соприкосновения — время. У Сартра оно связано с выбором, с действием. Мы становимся — именно через поступок. А Тарковский? Он ведь буквально снимал

Время. Пленку, память, длительность. «Зеркало», «Солярис» – это же всё про то, как прошлое стучит в дверь, и ты либо откроешь, либо сделаешь вид, что не слышишь.

– Но оно всё равно останется за дверью.

– Именно. Только ты будешь уже не ты.

Я вдруг поняла, что запоминаю каждую его фразу. Не просто слушаю, а будто вписываю в себя. Как строки, которые не забудешь. Которые потом, в нужный момент, всплывут – и спасут. Или ранят.

– У Тарковского, – сказал он напоследок, – герои не святые. Но честные. По-настоящему честные. А значит – обречённые. И, наверное, в этом они с Сартровскими – братья.

Он улыбнулся как-то по-человечески устало:

– Просто один из них верит в Бога. Другой – в Человека. А ты пока учишь верить в себя. Это самое сложное».

Я тогда только кивнула, даже не совсем поняв, как много он оставил между строк. Просто хотелось остаться в этом тепле – не спорить, не философствовать, а просто быть рядом. Быть понятой. И принятой. А теперь, вспоминая, я чувствовала, как эти слова всё ещё живут во мне, но уже по-другому. Тогда я слышала их, как ученица. Теперь – как человек, который впервые по-настоящему выбрал. И понял цену этого выбора.

Учись верить в себя.

Это звучало мягко. Почти нежно. Но теперь я знала – это был приговор. Потому что верить в себя – значит больше никогда не сказать: «Я не знала, мне не сказали, я не могла иначе». Это значит – смотреть в лицо страху, стыду, ошибке. И всё равно оставаться. Не убежать. Именно это было у Тарковского. Именно это – у Сартра. И, чёрт возьми, именно этого не прощают другим. Особенно если ты молода. Особенно если ты девочка. Особенно если ты не молчишь.

Я продолжала свой путь к его дому. На самом деле, я до конца не понимала, зачем вообще еду. Под предлогом совета, разговора, но подспудно – за чем-то большим: подтверждением себя, правом на чувствительность, на эмоциональность. Я жажду снова ощутить эту близость, не физическую, нет. Ту, что возникает в тишине между словами, когда взгляд понимает, прежде чем рот успеет сформулировать. Ту, в которой ты не играешь роль умной, сильной, спокойной – а просто существуешь, и этого достаточно. Ту, где ты не объясняешь, почему тебе больно, а просто дышишь рядом с тем, кто уже понял. Я жажду этой близости, как света в конце долгого туннеля, как прикосновения, которого никто не требует, но которое происходит всё равно. Тихо, безопасно и по-настоящему.

Наконец я три раза постучала в его дверь. Он открыл, все было просто. Он почти не изменился, только добавились несколько морщинок вокруг глаз, которые были уставшими. Чуть больше седины, но улыбка была все та же, какой я ее помнила: теплая, принимающая, будто не просто в дом, а в свою жизнь. Он был невысокого роста, на пару сантиметров ниже меня, глаза были голубыми, как небеса, он весь засиял при виде меня, и это еще раз напомнило мне о том, как я по нему скучала.

«Мара...» – тихо и нежно произнес мужчина, и больше ничего не сказал. Я обхватила руками его шею, прижалась к моему доброму другу и почувствовала его объятия в ответ. Я почти плакала, он был таким же, как раньше. Даже сигареты курил те же – я почувствовала их неприятный запах. Мы прошли на кухню, которая была слишком маленькой, чтобы в ней сидело больше двух человек. Две кружки уже стояли на шатком деревянном столике, одна из них была с маленькой трещинкой, но мне он указал на другую – видимо новую, потому что она была слишком идеальной. На кресле, которое там стояло, неаккуратно лежал клетчатый красный плед, а сама подушка была чуть промята. На столе лежал «Демиян» Германа Гессе, и я сразу вспомнила, как первый раз прочитала это произведение. Тогда весь мир казался зыбкой конструкцией из чужих правил, обязательных улыбок и правильных ответов. С каждой

страницей внутри будто что-то шелкало – не громко, а точно. «Демиан» не просто говорил – он смотрел. На меня. Сквозь текст и сквозь время. Сам герой был тем, кто знал, что я мечусь, что я не такая, как надо, что ищу не уют, а истину. И даже если истина будет уродливой – я все равно пойду за ней. Меня поразила не философия, а то, что кто-то уже прошел этот путь – путь одиночества, отторжения, внутренней войны. Что это чувство – быть «другой», странной, глубокой не по возрасту – не моя ошибка. Это и есть начало пути. И еще я помню: тогда, дочитав до последней строчки, я долго сидела с книгой, прижав ее к груди, как будто боялась, что если отпущу – снова стану собой. А мне впервые не хотелось возвращаться. С тех пор я не перечитывала «Демиана» – не потому, что он потерял для меня значение, а потому что затаился внутри. И теперь, увидев этот текст, который я могу сравнить лишь с божественным писанием, снова – не на книжной полке, а на чужом столе – я поняла: он возвращается не просто так. В моем друге действительно было что-то демиановское. Спокойствие человека, который давно прошел фазу метаний, но не стал от этого черствым. Тот же взгляд – не осуждающий, не пронзающий насквозь. Он не давал ответов – он будто просто ждал, когда ты дойдешь до них сам. Как Демиан ждал, когда Синклер вырастет, и когда он наконец осмелится быть собой. Я помню, как читала роман и думала: «Где найти того, кто увидит тебя до того, как ты еще поймешь, кто ты есть?». А теперь вот – стою в квартире Арсения Андреевича, и он, быть может, уже давно это знал. Не потому, что обладал каким-то даром, а потому что когда-то сам прошел через все это – через смятение, отвращение к миру, который требует притворства. Может быть, именно поэтому он так бережно относился к моему молчанию. Он не боялся моих вопросов. Не смеялся над моей «серьезностью». Он видел не только то, кем я была, но и то, кем могу стать, и, возможно, это было самым опасным чувством из всех, потому что, если он ошибается – значит, я сама себя придумала, а если нет – тогда придется стать той, кем он меня увидел, и в кого поверил.

Он налил чай – молча, аккуратно, будто все еще был моим учителем. Я сидела, не зная, с чего начать, да и вообще, стоило ли говорить? Здесь пахло бергамотом и старой бумагой, и это почему-то успокаивало.

– Ну? – спросил он, наконец. – Скажешь что-нибудь?

Я пожалала плечами и долго смотрела в чашку, прежде чем произнести:

– Там все сложно. Я... немного чувствую себя лишней.

– Почему? – голос у него был спокойный, почти нейтральный, но я знала: он слушает по-настоящему.

– Потому что они все такие уверенные. Знают, как держаться, что говорить. А я будто все время наступаю на чужие границы. Его границы.

– Кого?

– Левина. – Я подняла взгляд. – Он умен. Он действительно профессионал в своем деле. Но у него все слова, как нож. Без права на слабость.

Арсений Андреевич откинулся на спинку стула и посмотрел на меня чуть сбоку.

– И ты решила, что должна быть сильной, чтобы заслужить уважение?

– Не знаю. Наверное? Или хотя бы – не выглядеть глупо и смешно. Он ведь так смотрит, будто уже все понял, что ты хочешь сказать, до того, как ты открыла рот.

Он чуть усмехнулся – быстро, почти незаметно.

– Возможно, это и есть его метод. Заставить других сомневаться. А потом – наблюдать, как они с этим справятся.

– А если не справляются?

– Тогда он считает, что им не стоит быть в его поле. И идет дальше.

Я промолчала. В груди сжалось что-то старое и знакомое – неуверенность, граничащая с обидой. Он посмотрел на меня мягче:

– Ну чего ты, родная?

– Если честно... я просто не понимаю, зачем я там. В группе, на факультете. Я читаю больше, думаю, наверное, больше, чем надо – а ощущение, будто всё это ни к чему.

Он не ответил сразу. Только вздохнул.

– Бывает. Когда ты думаешь глубже, чем ждут от тебя, – часто кажется, что ты не туда попала. Но это не значит, что ты не на своём месте. Это значит, что место ещё не осознано. Ни тобой, ни теми, кто рядом.

Я молчала. Мне вдруг стало тепло – не от чая, а от его слов. От того, как он это говорил. Без пафоса. Просто – по-человечески. Не чтобы вытащить меня из ямы, не чтобы что-то исправить. А просто – быть рядом. Слышать. Как будто он признавал само моё ощущение – не обесценивая его, не анализируя. В этот момент я вспомнила, почему раньше мне было так легко с ним: он никогда не пытался меня «чинить». Он просто позволял мне быть такой, какая я есть – растерянной, слишком серьёзной, с вечными вопросами на языке. И от этого – от этой обычной, почти незаметной человечности – на душе становилось легче, чем от самых правильных слов.

– Значит, Левин, – протянул Арсений Андреевич, снова делая глоток чая. – Мрачный, остроумный, уверенный в себе до безобразия. Интеллект как лезвие, говоришь?

– Да уж, лезвие. Однажды он этим лезвием кого-то зарежет. – Пробормотала я.

Он снова усмехнулся, поставил чашку и чуть прищурился:

– Послушай, Мара... Это уже почти традиция, да? Учитель, который одновременно восхищает и бесит, перед которым ты хочешь доказать, что не глупая, что «умеешь думать»... Мне это кое-что напоминает.

– Ну не начинайте, – произнесла я, уткнувшись в чашку. – Это не то.

– Конечно не то, – подыграл он с улыбкой. – Он же не я. Он, наверное, даже улыбается редко. А ты почему-то снова оказалась на орбите этого типажа. Кстати, обращайся на «ты», мы же договаривались!

Я закатила глаза:

– Хорошо, я все еще не привыкну. И насчет «типажа»... Это не «типаж»! Просто... мне интересно. Он не поверхностный. Он не боится говорить неприятное. Он – как... как проверка.

– Ммм, – кивнул Арсений с театральной серьезностью. – Проверка, которая может морально размазать по стенке. Ну да, прекрасная учебная среда для чувствительной юной студентки.

Я фыркнула:

– Ты... Вы издеваетесь.

– С любовью, – отозвался он. – Просто наблюдение. У тебя, знаешь ли, талант. Не в написании эссе, не в анализе текста. А в том, чтобы находить себе учителей, которые как будто сшиты по твоим внутренним трещинам.

Я вдруг замолчала. От этой фразы кольнуло в самое уязвимое.

Он заметил паузу и продолжил уже мягче:

– Это не плохо. Просто иногда стоит помнить: учителя – это не зеркала. И уж точно не богоподобные фигуры, чьё признание определяет, есть ты или нет. Пускай он будет вызовом – но не судьёй.

– А если он ведёт себя как судья?

– Тогда веди себя как человек, у которого есть право апелляции. Или хотя бы чувство юмора. Левин – умный. Но и он человек. Прощупай его границы. Умные часто думают, что их никто не тронет. А ты – тронь. Не грубо. Но точно.

Я приподняла бровь.

– Советуешь... все-таки начать войну?

Он пожал плечами.

– Нет. Советы – это скучно. Но если уж ты опять нашла себе глыбу – не стой перед ней в благоговении. Лучше постучи по ней. Вдруг внутри – пусто.

– Вдруг пусто, – повторила я его слова почти шёпотом. – Ты так говорил когда-то.

– Я? – он поднял бровь, делая вид, что не помнит.

– Да. После моего сочинения по «Грозе». Ты сказал, что текст красивый, «но там пусто». Я тогда обиделась ужасно. А потом пошла домой и переписала всё заново.

Он тихо засмеялся, глядя на свою кружку.

– Вот как. Значит, сработало.

– Сработало. Потому что ты был первым, кто не хвалил меня автоматически, не говорил: «Ты умничка, ты стараешься». Ты просто сказал: «Пока не то».

– А ты не убежала. – Он взглянул на меня с какой-то светлой грустью. – Вот за это я тебя и запомнил. Многие после таких слов просто начинают бояться.

– Я боялась, – честно сказала я. – Просто не показала.

Он на миг замолчал. Потом тихо добавил:

– Помнишь, как ты впервые осталась после урока?

Я кивнула.

– Конечно. Я была уверена, что ты вызвал меня за хамство.

– А ты просто вслух сказала, что Тютчев занудный.

– Он был занудный! – не выдержала я.

– Я не спорю, – улыбнулся Арсений Андреевич. – Но ты сказала это так, как будто у тебя есть на это право. А я тогда впервые подумал – у тебя действительно оно есть. Потому что ты не хотела быть интересной. Ты хотела быть честной.

Я отвела взгляд, чувствуя, как во мне поднимается что-то странное – не боль и не радость, а их какая-то тайная смесь.

– Мне кажется, – сказала я, уже тише, – ты тогда меня научил самому важному. Что думать и чувствовать – можно. И даже нужно. Но потом за это придётся отвечать. Не перед другими. Перед собой.

Он посмотрел на меня дольше, чем обычно.

– Ты и тогда всё это уже понимала, – произнёс он тихо. – Просто не умела проговаривать. Ты была... слишком восприимчивая. Слишком прозрачная. И от этого – пугающе настоящая.

Я вздохнула и вдруг рассмеялась, устало.

– Ты когда-то так и сказал. «Ты слишком настоящая». Я тогда подумала: ну вот, опять что-то не так.

– А ты не поняла, что это был комплимент, – качнул он головой.

– Не поняла. Потому что «настоящими» называют либо гениальных, либо неуправляемых. А я просто была девочкой, которая не умела врать. Даже самой себе.

– И которая писала, как будто этим дышала.

Он вдруг потянулся к полке позади и вытащил старую папку. Открыл её, неторопливо достал тонкий, немного пожелтевший лист.

– Хранил? – прошептала я.

– Конечно. Это же твоё первое сочинение, где ты не цитировала учебник. Помнишь? Ты тогда анализировала Цветаеву. И написала: «Она живёт в стихах, потому что жить в себе ей невыносимо». Я перечитал эту фразу три раза. Мне стало не по себе.

– Почему?

– Потому что так не пишет семнадцатилетняя. Так пишет человек, который уже что-то потерял. – Он опустил глаза. – Тогда я впервые подумал, что ты – не просто умная. Что ты будешь жить глубже, чем позволяет мир. А значит, тебе будет больно чаще.

Наступила тишина. Она не давила. Она просто была между нами. Настоящая.

– Вы боялись? – спросила я внезапно. Снова на «Вы». Так было нужно.

Он поднял бровь.

– Чего?

– Меня. Или... своих реакций на меня.

Он не ответил сразу. Улыбнулся едва, без иронии.

– Боялся. Конечно. Я ведь взрослый человек. Преподаватель. Ты – подросток. Умная, тонкая, красивая. А я – в системе, где такие, как ты, должны быть просто «учениками». Не личностями. Не душами. Не теми, кто заставляет задуматься, как ты сам держишь спину.

Я молчала. В груди всё сжалось.

Он продолжил:

– Ты заходила в класс – и воздух становился другим. Я это чувствовал. Мне приходилось делать вид, что не замечаю. Что твои глаза – обычные. Что твои слова – просто ответ у доски.

Он усмехнулся горько.

– Иногда я чувствовал себя идиотом. Потому что ты и не делала ничего особенного. Просто была. Но быть так – это тоже сила. Которая дёргает что-то внутри.

Я медленно поставила чашку.

– Я вас когда-то любила.

Он не удивился. Просто опустил взгляд, как будто ждал этого.

– Я знаю.

– Не как учителя. Не как героя. Просто... как человека, в котором я увидела что-то своё. Такое, чего не могла ни назвать, ни объяснить. И до сих пор не могу.

Он поднял глаза.

– А я любил тебя – так, как позволял себе: тихо, безопасно, издалека. Но если бы позволил больше – я бы сломал тебя. А я хотел, чтобы ты росла.

И снова тишина. Уже не просто между нами – а во всём пространстве. В стенах, в чае, в книгах на полках.

Он добавил:

– Иногда любить – это молчать. И отпустить. Даже если хочется остаться.

Я смотрела на него и молчала. Не потому что нечего было сказать, а потому что всё было сказано слишком поздно или слишком рано. Тогда, в семнадцать, я действительно любила его. Не школьным увлечением, не глупым поклонением. А как любят впервые: с абсолютной верой в человека, с трепетной нуждой быть рядом, с жадной быть замеченной не как ученица, а как та, кто действительно есть. И я хотела, чтобы всё было по-другому. Хотела, чтобы он не уходил после уроков. Чтобы однажды задержал взгляд дольше обычного. Сказал: «Ты можешь остаться» – не для того, чтобы обсуждать текст, а потому что он сам хочет, чтобы я осталась. Я фантазировала об этом. Молчала. Смотрела ему в спину, когда он шёл по коридору – и каждый раз надеялась, что он обернётся. Не как учитель. А как кто-то, кто тоже чувствует. Но он не обернулся. Никогда. Между нами ничего не было. Ни прикосновений, ни запретных слов, ни странных пауз, из которых вырастают подозрения. Он держал дистанцию безукоризненно. И только сейчас, спустя годы, я поняла, какой ценой это ему давалось. И как правильно он тогда поступил. Но всё равно... часть меня тогда хотела иначе. Хотела невозможного. И теперь, глядя в лицо прошлому, я вдруг испугалась. А что если я снова иду по той же дорожке? Слишком чувствительная, слишком восприимчивая, я снова могу влюбиться – не в человека даже, а в контакт, в напряжение, в разговор, в котором на меня смотрят глубже, чем позволено. Я боюсь, что с Левиным может повториться всё то же самое – только хуже. Потому что он не будет держать дистанцию. Он – не Арсений Андреевич. Он не спасёт меня от самой себя. Он – испытает. Проверит на прочность. И если я снова не удержусь – он просто отступит. Холодно. Как умеет. И я останусь стоять. Как тогда. Только теперь – без права на невинность.

Он больше ничего не сказал. Только встал, пошёл к полке и достал тонкую, потёртую книгу в мягкой обложке. Она была склеена старым скотчем, страницы неровно торчали из обреза. Он протянул мне её без комментариев.

– Это? – спросила я.

– «Исповедь». Августин Аврелий. Там есть одно место... – он замолчал, будто выбирал, озвучить или нет. – Где он говорит, что человек не может убежать от себя, потому что всюду берёт себя с собой. Мне кажется, тебе сейчас это важно.

Я взяла книгу двумя руками, как будто боялась ее уронить. На форзаце – аккуратный, почти каллиграфический почерк:

«Ты не обязана быть понятой. Ты обязана быть честной».

Он смотрел в сторону. Я знала – он не хотел видеть, как я читаю.

Я кивнула.

– Спасибо.

Он проводил меня до двери. Мы молчали. Ни объятий, ни лишних слов. Просто пауза. И воздух между двумя людьми, которые когда-то могли бы стать чем-то большим – но не стали. И это было до боли правильно. На пороге я обернулась – и впервые увидела, как он выглядит, когда остаётся один. Слишком тихий. Как будто часть его всё-таки осталась со мной. Но без права на возвращение.

– Береги себя, – сказал он. – И это не конец, конечно. Пиши мне в любое время.

Голос был спокойный, но я услышала в нём многое. Всё, что когда-то не было произнесено.

Я вышла в коридор. Ступени были прохладными. Под ногами скрипел старый паркет. За дверью – февральская ночь. Свет фонарей скользил по обледенелому асфальту, и воздух был колючим, прозрачным, как стекло. Я прижала книгу к груди. Она казалась пульсирующей. Не вещь – знаком. Теперь всё было по-другому. И дело было даже не в нём. А в том, что он больше не был тем, за кого я пряталась от мира. И, быть может, именно в этом и заключалась подлинная благодарность: уйти, не ожидая, что он закроет за мной дверь. Я спустилась вниз и шагнула в ночь. Февраль был на исходе. Всё вокруг затаилось в ожидании – ещё не весны, но уже и не зимы. И я тоже затаилась. Перед тем, как сказать – теперь будет иначе.

## 4

Сегодня в институт я приехала раньше. Ночью я практически не спала, хотя мне хотелось, но глаза будто бы не могли закрыться, и я все никак не могла провалиться в сон. Выпив уже три кофе я сидела на диванчике около кабинета, в котором у нас снова должно было быть занятие с Левиным. На самом деле, стены этого здания теперь ощущались иначе. Будто после разговора с Арсением Андреевичем вдруг изменилось пространство и время, и я жила уже в другом измерении, в другой версии реальности, где смогу противостоять всему плохому, что меня может ждать. Тем не менее, я все еще ощущала некую тревогу – и не зря. В другом конце коридора вдруг появился Григорий Михайлович с какой-то студенткой нашей группы. Он улыбался, она поправляла волосы и с легким смехом рассказывала ему что-то, видимо, не относящееся к учебе никаким образом. Я сделала вид, что не смотрю, перевела взгляд в окно, на тусклое февральское небо, тяжелое, как вороненое стекло, но краем глаза продолжала видеть, как он слегка наклоняется к ней, как будто вслушиваясь, и как его брови поднимаются в той самой манере, в которой он, наверное, комментирует мысли Сартра или Камю. И я знала, он сейчас не преподаватель. Он – мужчина. В хорошей форме, с умом и обаянием, которые он умеет выключать и включать, как прожектор. Я не ревновала – по крайней мере, мне бы хотелось думать, что не ревновала. Но что-то сжалось внутри. Не из-за нее, а из-за себя. Потому что я знала: вряд ли он когда-нибудь заговорит со мной так. Не между делом. Не просто – легко. Между мной и ним всегда будет стоять контур напряжения. И если я когда-нибудь его коснусь – это будет больно, а не приятно. Осторожно, а не игриво. Он не тот, кто заводит светскую беседу, он тот, кто вырывает душу и смотрит, как ты на этоотреагируешь. И, наверное, именно поэтому я не могла отвести взгляд. Они прошли мимо. Она все еще смеялась, он кивнул – и в какой-то момент его глаза все-таки скользнули по мне. Не остановились. Просто скользнули. Как будто мимолетная тень от облака, которое не задержалось. Я почувствовала, как внутри поднимается дрожь – не страх, нет. Скорее – знание. Он все помнит. Он просто не начнет первым. Я достала ноутбук, сделала вид, что что-то читаю. Четвертый кофе казался лишним, но в сон все равно клонило. Кружка стояла чуть в стороне, обрамленная тусклым светом из окна. Её край был треснут – едва заметно, но достаточно, чтобы палец зацепился, если провести слишком невнимательно. Я вспомнила, как вчера в спешке задела локтем край стола – может, это я и сделала. Или она треснула сама, не выдержав утреннего напряжения. На подоконнике лежал мятый лист бумаги. Влажный угол, размазанные чернила, чужой почерк, неразборчивый, как будто кто-то писал на бегу, прятал что-то в строчках. Я не стала читать. Просто смотрела. Иногда вещи сами по себе говорили больше, чем люди. Этот лист будто напоминал: даже мысли имеют срок годности. Даже то, что казалось важным, потом остаётся в коридорах – случайным и ненужным. Где-то в глубине аудитории жужжала лампа, тусклая, будто уставшая. Её свет дёргался, как ресница, пойманная сквозняком. Я чувствовала, как пыль медленно опускается на край моего ноутбука. Всё вокруг будто замирало, ожидая чего-то. Или кого-то. И в этой тишине даже трещина на кружке становилась важной. Знаком. Признаком, что всё действительно было и уже начало разрушаться. Слабое жужжание в висках и ощущение, что начнется что-то важное, тонкое и потенциально опасное. В двери щелкнул замок, Левин вошел в класс, и я медленно последовала за ним. Григорий Михайлович даже не посмотрел в мою сторону. Я села ближе к центру – не в первый ряд, но достаточно близко, чтобы видеть, как он морщит лоб, когда слушает, и как чуть дергается палец на краю стола, когда кто-то говорит слишком долго и слишком не по делу. На столе лежала стопка книг, жёлтая мелованная бумага, старый чёрный маркер и его очки. Он всегда надевал их только в двух случаях: чтобы прочитать текст вслух – или чтобы разглядеть того, кого хотел распять.

Он начал резко, будто с середины мысли.

– Сегодня, – сказал он, – говорим о противостоянии личности и институции.

Пауза. Его взгляд скользнул по рядам, как прожектор.

– Мы читаем текст. Мы видим героя, вырванного из привычного контекста. Его бросают в систему, где всё уже решено до него. Что он делает? Он борется.

Взгляд снова остановился.

– Но почему? Потому что у него есть внутреннее «я» или потому что он панически боится исчезнуть?

Молчание.

– Или, может быть, – продолжил он с лёгкой насмешкой, – он просто переоценил свою значимость?

Я чувствовала, как слова пульсируют в воздухе, как звук дождя. Он подошёл к краю кафедры, облокотился.

– Кто-нибудь? Или вы все уже сдались, даже не начав?

Я подняла глаза. Он смотрел прямо на меня. Я не хотела говорить. Но ещё больше не хотела прятаться. Где-то внутри, в самом уязвимом месте, уже привычно сжалось: ты всё испортишь. Опять скажешь не то. Слишком остро. Слишком серьёзно. Голос, знакомый и липкий, как старое письмо, повторял: потом будешь жалеть, как всегда. Но был и другой – тонкий, почти неуверенный, но упрямый. Он не уговаривал, не подталкивал, просто напоминал: если промолчишь – перестанешь быть собой. Я чувствовала, как от напряжения чуть дрожат пальцы, сжимавшие край сиденья. В ушах пульсировал собственный пульс – глухо, будто в темноте под кожей. Всё это было не просто о литературе. Не про текст. Это было про право на голос. Про возможность не исчезнуть. Я сделала вдох. Внутри всё кричало: не надо, тише, уйди в тень. Но я уже знала – если сейчас не скажу, то завтра буду снова искать себя среди чьих-то чужих мыслей. Поэтому я подняла глаза. И выбрала второе.

– Потому что боится исчезнуть, – сказала я. – Потому что институция делает его пустым. Он борется, чтобы не раствориться. Чтобы остаться – хотя бы для себя.

Он выпрямился.

– Хорошо. Но давайте на шаг глубже. Что, если само это желание “остаться для себя” – уже ловушка? Ведь субъект, осознающий себя через сопротивление, уже встроен в систему. Он нужен ей. Без него – нет драмы. Без драмы – нет оправдания её существованию.

– Но он не для системы остаётся, – возразила я. – Он остаётся, чтобы доказать самому себе, что не исчез. Это не акт демонстрации – это акт сохранения. Внутренний.

– Хм. – Он приподнял бровь. – Вы всерьёз верите, что внутренний выбор можно отделить от контекста? От взгляда других? От архитектуры власти?

– Думаю, не отделить. Но это не значит, что он не настоящий. Человек всё равно остаётся с собой наедине. Даже если вокруг – тысяча глаз. Он может сдать внешне, но внутри – не предать себя.

Левин на мгновение замолчал. В аудитории было настолько тихо, что я слышала, как кто-то щёлкнул ручкой в соседнем ряду.

– А вы? – спросил он неожиданно. – Сдавались когда-нибудь?

Я не ожидала.

– Я... наверное, да. Но не полностью.

– Все так говорят. – Он усмехнулся. – И всё же – каждый из нас живёт в какой-то форме компромисса. Кто-то выбирает молчание. Кто-то – показное сопротивление. А подлинность... подлинность – это то, чего мы боимся больше всего.

Я смотрела на него и чувствовала: он проверяет. Не только мою позицию – меня.

– Боимся, потому что за неё приходится платить, – сказала я. – А не все готовы платить. Но если отказаться, то всё теряет смысл. И ты тоже.

Он опустил глаза, снял очки и положил их на стол.

– Интересно, – произнёс он почти тихо. – Остальным придётся постараться, чтобы догнать.

Молчание в классе было теперь другого рода – не от страха, а от напряжения. Кто-то слева шепнул:

– Ты у него в любимчиках теперь.

Я вздохнула. Любимчики у Левина – это не про симпатию. Это про попадание в прицел. Про то, что теперь отступить будет невозможно.

После пары я вышла быстро, почти первая. Внутри всё дрожало, как струна. Но не от страха – от напряжения, как будто внутренний ток не отключили, и я до сих пор находилась под высоким напряжением. Я прошла пару пролётов вниз и остановилась у окна. Воздух был затхлый, февральский – острый, без запаха, как холодное железо.

– Марлена.

Голос прозвучал позади. Я обернулась. Левин стоял на площадке, будто только что спустился с другой лестницы. Не приближался, не улыбался. Просто смотрел.

– Хотите поговорить? – спросила я.

– Не уверен. Вы, кажется, умеете превращать разговор в дуэль.

– А вы – в экзамен.

Он усмехнулся. Почти искренне.

– Знаете, большинство студентов либо молчат, либо стараются угадать, что я хочу услышать. Вы – говорите так, будто мне придётся угадать вас.

– А вы разве не любите загадки?

– Люблю ясность. Но хорошая загадка – это ясность, замаскированная под хаос. Вы – не хаос. Вы – система, которая ещё не поняла, по какому принципу устроена.

Я приподняла бровь.

– Это комплимент?

– Это наблюдение.

Он подошёл ближе – на расстояние, где уже можно было почувствовать тепло тела, но ещё нельзя было понять, воюете вы или собираетесь поцеловаться.

– Вы сегодня говорили так, как будто впервые слышали себя.

– А вы – как будто уже знали, что я скажу.

Он чуть кивнул, как будто соглашался.

– Вас кто-то учил говорить такие вещи? – спросил он.

– Что вы имеете в виду?

– Ну, например, что внутренняя борьба важнее внешней. Что подлинность существует. Что человек может быть не функцией.

Я замолчала. Подумала о том, что сказал бы Арсений Андреевич. Что он, возможно, уже знал, что я вырасту и буду здесь – в этом разговоре.

– Да, – сказала я наконец. – Был человек, который говорил похожие вещи.

Левин всмотрелся в меня чуть внимательнее.

– Учитель?

– Да. Но не из тех, кто читают по бумажке, как некоторые. – Мне хотелось его уколоть.

– Скорее из тех, кто может молчать так, что ты начинаешь говорить сам.

– Мудрая тактика. И редкая. Я чаще использую давление.

– Я заметила.

Он улыбнулся – тонко, почти с грустью.

– Потому что, если не давить, не узнаешь, из чего человек сделан.

– А если он треснет?

– Значит, не был цельным.

– А если он не треснет, но замкнётся?

– Тогда он мой. – Он посмотрел прямо в глаза, и я на мгновение перестала дышать. – Потому что выдержать – это одно. Остаться собой после – другое.

В этот момент в его взгляде промелькнуло что-то совсем не академическое, как будто он увидел во мне не ученицу, а соперницу. Или союзницу. Или и то, и другое сразу. Взгляд был коротким, почти скользящим, но я уловила в нём напряжение – то, что бывает между двумя людьми, чьи границы вдруг начали совпадать. Он смотрел не сквозь меня, не сверху – он смотрел внутрь. И я почувствовала: ещё немного, и что-то нарушится. Как будто тонкая грань между «проверкой» и «признанием» начнёт дрожать, как вода под дыханием.

Молчание. Острое, натянутое. Он чем-то похож на Арсения Андреевича. Не внешне, не в словах, а в интонации. В умении смотреть так, будто знает, что во мне больше, чем я сама готова признать.

Но если он был тем, кто давал пространство, то Левин был тем, кто его сужал. До точки. До пульса. До выбора. И я не знала, от чего страшнее – от памяти или от настоящего.

– Вы пугаете людей, – сказала я.

– Это неправда, – отозвался он. – Я просто не стараюсь быть удобным.

– И вы этим гордитесь?

– Нет. Просто констатирую. Удобные преподаватели – это те, кого забывают после зачёта.

А я хочу, чтобы мои студенты вспоминали. Даже если ненавидят.

– Я не ненавижу.

– Пока что.

Он отвернулся. Пауза. Потом снова посмотрел на меня – на этот раз медленно, с каким-то странным теплом.

– Вы опасны, Марлена. Вы думаете не по возрасту.

– А вы ведёте себя так, будто возраст – гарантия правоты.

Он рассмеялся. На секунду – уже по-настоящему.

– Осторожнее с этим огнём, – сказал он тише. – Он может обжечь не только вас.

И пошёл по лестнице вниз, не обернувшись. Я осталась стоять. Точно так же, как когда-то, много лет назад, стояла в коридоре после разговора с Арсением Андреевичем. Но теперь... всё было иначе. Теперь я уже знала, что с такими, как он, нет нейтральной зоны. Либо ты выходишь целой, либо интересной.

Кафе находилось на первом этаже корпуса – угловое, с низкими потолками и окнами, выходящими во внутренний двор. Воздух здесь всегда был слегка несвежим, будто пропитан недосказанными разговорами студентов, которые за год проносились сквозь него в поисках утешения, тепла и сахара.

Плитка на полу серела от старости, стулья были пластиковые, но по-своему уютные. На стенах висели чёрно-белые фотографии выпускников, а в углу тихо гудел автомат с молочным шоколадом.

Мы сидели за узким столом у окна. Ника помешивала кофе деревянной палочкой – неторопливо, как будто в этой механике было что-то важное. Я сидела напротив, с ладонями, охватывающими чашку. Внутри – горький кофе с привкусом усталости.

– Ты сегодня была как... не знаю, рыцарь без брони, – сказала Ника, не поднимая глаз. – Только без щита. И без шлема. Просто в платье – против танка.

– Это плохо?

– Это эффектно. А эффектно – почти всегда опасно. Особенно, когда твой противник – Левин.

Я посмотрела на окно. Снаружи хлопья снега ложились редкими линиями на подоконник. Мне казалось, что если долго смотреть, то можно услышать, как падает каждая снежинка.

– Что между вами происходит? – спросила она, уже мягче.

– Ничего, – пробормотала я.

– Мара... – Она усмехнулась. – Ничего – это когда ты не замечаешь, как пахнет его шарф. А ты, я уверена, знаешь теперь даже, как он держит ручку.

– Он держит её слишком близко к стержню, – прошептала я, и сама себе захотелось ударить по лбу.

Ника вскинула брови.

– Ну вот. Я о том и говорю. Ты его читаешь как поэму. Тот случай, когда ты не влюблена, но уже зависима.

– Он другой. Не как остальные. Он... точный. Страшно точный.

– Да, он снайпер. – Она наконец посмотрела на меня. – Но ты, Марлена, тоже не из тех, кто кидает снежки. Ты про философские мины. Только, пожалуйста, скажи мне, что ты не повторяешь тот самый сценарий?

– Я не знаю, – честно призналась я. – Он чем-то похож на Арсения Андреевича. Только...

– Только меньше нежности, больше опасности?

Я кивнула.

– Арсений давал тебе пространство. Этот – поджимает воздух. Это не плохо. Но это... другое.

Она сделала глоток и склонила голову к плечу, как делает, когда что-то серьёзное.

– Ты не боишься, что он играет?

– Думаю, он не играет. Он испытывает. Это же всё – проверка: взгляды, паузы, фразы.

И ты либо выдерживаешь, либо трескаешься.

– А ты не треснешь?

Я улыбнулась.

– Я уже треснула. Внутри. Но стараюсь не развалиться.

– Я серьёзно, – сказала Ника. – Мара. У тебя такая штука: ты не влюбляешься в людей, ты влюбляешься в напряжение между вами. В то, что может быть. В то, чего не было – с Арсением. И ты теперь как будто хочешь переписать сценарий. Но с Левиным не выйдет. Он режиссёр, а не актёр.

Я смотрела на неё, и что-то внутри медленно, почти болезненно оседало.

– Хочешь совет?

– Попробуй.

– Если он подойдёт – не отступай. Но не ведись на умные фразы. Слушай не текст. Слушай, как он тебя смотрит. Если в этом взгляде ты видишь только себя – ты в ловушке.

– А если вижу его?

– Тогда ты в другой. И это, возможно, даже хуже.

Она замолчала. Иногда мне казалось, что она смотрит на меня не как подруга, а как хроникёр – та, кто однажды запишет всё это, когда я уже забуду. Или не захочу вспоминать. В её взгляде было странное спокойствие, как у человека, который знает, что эта история закончится больно, но всё равно остаётся рядом. Не чтобы остановить, а чтобы быть свидетелем. Может быть, даже, чтобы потом собрать осколки.

Внутри кофейни гудел обогреватель. За стойкой кто-то ругался с девушкой-баристой из-за холодного капучино. Мир шёл своим путём.

А я сидела и понимала: я всё уже выбрала. Просто ещё не призналась себе.

Я вышла из корпуса медленно, будто в тумане. С каждой ступенью вниз, с каждым шагом по гулкому холлу внутри меня оседало ощущение, что всё изменилось, и уже не вернётся на круги своя. И не потому что произошло нечто грандиозное. А потому что внутреннее напряжение стало направленным, как ток – он не просто вибрировал внутри, а начал двигать меня вперёд. Университетский двор встретил меня рассыпчатым, почти невесомым снегом. Он не падал – он медленно опускался, будто небесная пыль. Тихо, будто боялся потревожить. И от этого было только тревожнее. Воздух был влажным и хрупким, пах чем-то знакомым – бумагой,

металлом, чем-то старым и честным. Я натянула варежки, но руки всё равно дрожали. Февраль стоял у края: не зима, но ещё не весна. Время перелома. Невидимого, но осязаемого. Я прошла по тропинке вдоль стен корпуса, где когда-то в сентябре искала нужную аудиторию, путаясь в этажах и фамилиях преподавателей. Всё вокруг казалось прежним. Но стены стали ближе. Деревья – выше. Тени – длиннее. В голове снова и снова звучал его голос. Тот самый бархатный, чуть глуховатый, будто со сдержанной улыбкой. Голос, в котором не было ни «воспитательной» интонации, ни фальшивой доброжелательности. Он говорил со мной, как со взрослой. Он не спасал, не контролировал, не оценивал. Он просто видел. И от этого становилось не по себе. Привычное исчезало.

Я подошла к скамейке у старого дерева – оно стояло в углу двора, словно страж прошлого. Ветви были в инее. На спинке лавки кто-то вырезал сердечко и поставил инициалы: «Л+К». Я коснулась пальцем этих букв, и в груди что-то сжалось.

Я достала блокнот. Он был со мной с первого курса. В нём были конспекты по литературе, случайные стихи, разрозненные мысли, черновики признаний, которые я никогда не отправляла. Я открыла чистую страницу и долго смотрела на неё. Потом — медленно, как будто прописывая заклинание, написала:

«Он не делает из меня кого-то другого. Он не даёт иллюзий. Он просто говорит. И в этих словах я слышу, кем могу быть. Он не похож на Арсения Андреевича. Там была тишина, в которой я росла. Здесь – огонь, в котором я могу сгореть. Но я иду туда. Не потому что ищу любви. А потому что хочу узнать, выдержу ли я себя в этом пламени. Если я тресну – пусть. Но если останусь – тогда это буду уже не я вчерашняя. Это будет кто-то новый. И я хочу её встретить.»

Я перечитала. Строки дрожали в воздухе, как пар над губами. Я закрыла блокнот и крепко прижала его к груди. На секунду закрыла глаза. И всё стихло. Плечи дрожали, незаметно, почти невесомо, как будто внутри тела ещё оставалась та вибрация, что рождается после долгого диалога, от которого не отмыться. Воздух в лёгких был тяжёлый, как вода – казалось, нужно не дышать, а выныривать. Я сидела с закрытыми глазами и ощущала каждый удар сердца: глухой, медленный, но упрямый. Он бился где-то между горлом и солнечным сплетением – не как страх, а как напоминание. Как внутренний метроном, отбивающий шаг к чему-то новому. В этом биении было всё: тревога, решение, принятие. Как будто внутри уже кто-то знал: теперь всё по-настоящему: не в мыслях, не в словах. В теле. В дрожащих руках, в пустом зале за спиной, в снеге, который падал теперь будто бы только для меня. Мир будто замер – и дал мне тишину. Без оценок. Без «надо». Без «плохо» или «опасно». Просто тишину. Такую, в которой ты сам слышишь, как бьётся твоё сердце. Где нет учителей и учеников. Нет правильных ответов. Есть только ты – между страхом и жаждой.

Я встала. Снег продолжал падать – мельчайшими искрами. Фонари ещё не горели, но вечер уже дышал за спиной. Я знала: следующий день принесёт встречу. Я ещё не знала, с чем. Но внутри что-то уже готовилось. Как перед бурей. Как перед весной.

## 5

Февраль тянется. Он не живёт, не движется, он лежит, как простуженное тело под одеялом. Воздух в нём вязкий, с медленным запахом оттаявшего асфальта и железа. Снег всё ещё падает, но это не тот снег, которого ждут. Это не праздник, не радость, не скрип под ногами. Это – осевшая серая пыль, будто город медленно растворяется в своей собственной немоте. Я сижу у окна и никуда не спешу. Я ничего не жду. Я просто здесь. Уже несколько часов как здесь.

Комната наполняется дневным светом, но не становится светлее. Всё размыто. Края предметов, как у старой фотографии: мягкие, будто стертые. Моя кружка на подоконнике – с холодным зеленым чаем, который я так и не стала пить. Стекающая по стеклу капля. Тетрадь, где не дописана мысль. И я сама, – будто не до конца существующая. Как будто не вхожу в этот день, а касаюсь его снаружи, кожей, взглядом, дыханием. И этого достаточно. Я больше не верю в пафос. Больше не хочется значений, не хочется «поводов», «смыслов», «развития». Хочется просто тихо быть. Как дерево в саду, к которому никто не подошёл. Как комната, в которую не вошли.

Я вспоминаю, как в детстве подолгу лежала на полу. Когда было слишком громко – в мире, в голове, в семье – я ложилась и смотрела на ножки мебели, на линии паркета, на пыль, которую никто не вытер. Это было моё собственное пространство. Там никто не трогал меня. Никто не требовал ничего. Я просто была. Сейчас мне снова хочется туда, вниз, в неподвижность, в наблюдение.

Кажется, взрослеть – это когда перестаёшь требовать от себя реакции. Ты видишь новость, слышишь голос, чувствуешь чей-то взгляд – и не подскакиваешь больше. Не поднимаешь щит. Не выстраиваешь внутренний монолог. Ты просто пропускаешь. Как ветер, который прошёл мимо. Не потому что равнодушно, а потому что не хочешь больше жить, как на сцене.

Я больше не хочу играть. Ни в то, что понимаю. Ни в то, что справляюсь. Ни в то, что всё под контролем.

Правда в том, что я не знаю, что со мной. Я просто чувствую, что внутри – тишина. И она не пустая. Она как снег – полна невысказанного. Полна отложенных слёз. Полна слов, которые я не сказала ни одному человеку. Полна вопросов, на которые я никогда не получу ответ. И это не трагедия. Это – реальность. Иногда я представляю, что всё это – комната. Моя тишина – комната, без окон, без дверей. В ней ничего нет. Только я. И стул. Я сижу на нём и не знаю, как долго я уже здесь. Может, всю жизнь. Сначала мне было страшно. Потом – скучно. Теперь – спокойно. Потому что я поняла: эта комната – не тюрьма. Это я сама. И только когда я не пытаюсь выйти – я слышу, как в стене, где-то за спиной, начинается стук. Не тревожный. Не требующий. Просто кто-то есть. Где-то рядом.

Снег продолжает идти. Он ложится на всё одинаково – на крыши, на перила, на мои плечи, когда я всё же выхожу. Он не спрашивает, кто ты. Он не требует, чтобы ты что-то почувствовала. Он просто падает. И я думаю – может, мне стоит быть как он. Не стараться быть важной. Не проверять свою силу. Не объяснять себя. А просто быть падающей тишиной, которая ложится мягко и больше ничего не требует.

Я не знаю, будет ли весна. Не знаю, кто буду я, когда она придёт. Но я точно знаю: я прошла через февраль. Медленно. Без знамен. С одной чашкой. С одной тетрадью. С этой странной прозрачной кожей, через которую теперь видно чуть больше. И в этой хрупкости – ни слабости, ни поражения. А, может быть, самое живое, что у меня когда-либо было.

Нарциссы стоят на подоконнике, хрупкие и упрямые, как дети, которые не просят любви, но всё равно на неё надеются. Мне всегда казалось, что именно эти цветы почему-то обо мне. Их красота не зовёт, она просто существует. Они не ароматные, не броские, не просят внимания, но когда ты на них смотришь, невозможно не задержаться, не рассмотреть тонкие линии,

не почувствовать молчаливое «смотри на меня». Я в них узнаю себя – не ту, какую вижу каждый день, а ту, которая внутри просит: заметь, услышь, поверь. Иногда мне кажется, что я устроена из отражений. Я смотрю в зеркало и пытаюсь понять – кто я, если никто не смотрит. Становлюсь ли я чем-то настоящим, если никто не подтверждает моё существование своим взглядом, своей похвалой, своим желанием. Да, во мне есть нарциссизм. Но он не о превосходстве, не о самовлюблённости. Он – о голоде. О жажде быть не просто хорошей, а особенной. О том, как страшно раствориться, стать фоном, перестать быть центром хотя бы одного чьего-то мира. Я ловлю себя на том, что иногда специально молчу, чтобы меня искали. Исчезаю, чтобы заметили отсутствие. Пишу длинные фразы, чтобы меня читали как поэму. Иногда в этом стыдно признаваться, но в такие минуты я чувствую себя живой. Мне важно, как я выгляжу, как я звучала, какой была в чьей-то памяти. Я вспоминаю, как в детстве разыгрывала спектакли перед воображаемыми зрителями. Тогда я верила, что весь мир – сцена, и если я не играю, то всё напрасно. Сейчас я знаю, что сцена давно опустела, зрителей почти нет, но всё равно продолжаю шептать текст внутри. Это не потому, что я фальшивая. А потому что внутри меня живёт кто-то, кто очень хочет, чтобы его увидели – не разоблачили, не обнажили, а именно заметили. Мне не всегда нравится моя потребность в подтверждении. Иногда она душит. Я бы хотела быть независимой, гордой, сильной. Холодной, как ветер в феврале. Но я теплее. Я чувствую всё: и боль, и восторг, и зависть, и обиду, и желание блистать, даже если внутри разваливаюсь на куски. Я всё ещё учусь быть безапелляционно собой. Учусь не просить лишнего, не требовать быть понятым, не зависеть от чужого одобрения. Но учусь медленно. Мне нужно время. И мягкость. И те, кто не испугается этой мягкости. Я часто думаю, что любить себя – это не значит восхищаться собой. Это значит уметь остаться рядом, когда ты срываешься, когда не соответствуешь, когда снова ждёшь сообщения, которого не будет. Любить себя – это держать за руку внутреннего ребёнка, который хочет быть красивым, хочет, чтобы его похвалили, чтобы заметили, чтобы полюбили без условий. Я иногда сажусь рядом с этой частью себя. Не отталкиваю. Не стыжусь. Просто сижу. И в этот момент мне немного легче. Я всё ещё хочу, чтобы кто-то сказал: ты особенная. Но если никто не скажет – я хотя бы научусь не обесценивать себя за это желание.

Иногда мне кажется, что быть нарциссом – это просто быть очень уязвимым. Потому что нарциссизм – это не про власть и восхищение, как привыкли думать. Это про страх быть незамеченным. Про постоянное: а ты меня видишь? а я есть? а я важна? Это как стоять у зеркала не потому, что любишь себя, а потому что боишься исчезнуть, если не отражаешься. Меня можно ранить не оскорблением, а молчанием. Когда я говорю – даже не вслух, а взглядом, жестом, дыханием – и это остаётся без ответа. Это больнее, чем крик. Потому что нет зеркала. Потому что я будто бы стукнулась в стену. И тогда внутри поднимается не обида, а пустота: а есть ли я вообще, если во мне не отразились?

Я часто думаю: может быть, это из детства. Может, когда я маленькой пыталась быть хорошей, интересной, красивой, но рядом не было того, кто бы это признал. И теперь я всё время проигрываю ту же сцену: а вдруг теперь кто-то скажет? кто-то увидит? кто-то задержит взгляд и скажет: да, ты важна, ты настоящая, ты есть.

Я не хочу признаться в этом даже себе. Потому что в обществе таких людей называют незрелыми. Говорят: ищешь внимания, хочешь одобрения. Да, ищу. Хочу. Потому что в этом не только эгоизм, в этом – надежда. Что я не в пустоте. Что между мной и другими всё-таки есть мост.

Нарциссы, настоящие цветы, тянутся к свету, но при этом они всегда будто немного замкнуты. Слегка отвернуты от других. Они растут в одиночку, не цепляясь ни за что. Они не жадные, не шумные, не требуют воды каждый день. Но они исчезают тихо, почти незаметно. И я часто боюсь, что со мной будет так же: будто я слишком много жду от себя, и слишком мало позволяю другим приблизиться.

Я привыкла быть «образом». Тем, кого можно полюбить на расстоянии. В переписке. На лекции. В воспоминании. Но вблизи я путаюсь, теряю точку опоры, начинаю вглядываться в себя чужими глазами. И снова – зеркало. Не моё. Чужое. Всегда нужно чужое, чтобы увидеть себя. Это ли не нарциссизм? Но в какой-то момент я устала. Устала бояться быть обычной. Устала чувствовать, что если я не остроумна, не загадочна, не глубокая – меня перестанут видеть. И теперь я стараюсь быть, даже когда не получается быть особенной. Быть, когда скучна. Быть, когда грустна. Быть, когда не хочется никого впечатлять. Это трудно. Это как выйти на свет без грима. Без позы. Без редакции. Я долго путала любовь к себе с восхищением собой. Но теперь понимаю: любовь к себе – это быть с собой, даже когда не восхищаешься. Даже когда смотришь на себя и не видишь ничего грандиозного. Даже когда ты – просто девочка с неровной кожей, с неудачной фразой, с ошибкой в письме. И может быть, нарциссизм во мне – это просто попытка отстоять своё право быть, даже если никто не аплодирует. Это не стремление быть выше, а стремление не исчезнуть. Быть – не ради одобрения, а ради того, чтобы однажды поверить: я могу быть в этом мире не как картинка, не как чья-то проекция, а как человек. Настоящий. Противоречивый. Иногда нежный, иногда раздражённый. Иногда любящий, иногда пустой. Но – живой. И это уже не мало.

## 6

Я шла по коридору медленно, чуть медленнее, чем обычно. Сумка казалась легче, воздух – плотнее. Будто бы в стенах что-то изменилось: не мебель, не цвет краски, даже не запах мела, а сам воздух, та невидимая ткань, из которой ткутся дни. Я слышала, как скрипит пол под чьими-то шагами за спиной, как щёлкают кнопки автоматов с кофе, как смеётся кто-то в дальнем конце этажа – всё это было знакомым, но в то же время странно отстранённым, будто я смотрела на университет через плёнку. Или сквозь стекло. Тонкое, невидимое, но осязаемое.

Я не спала толком прошлой ночью. Не от страха. И не от волнения. Просто... не спалось. Мысли шли не парадом, а мягким шествием. Они не требовали внимания, они просто были. Как нарциссы на подоконнике – и ты знаешь: они уже проросли. Не отступить.

Когда я подошла к кабинету, сердце дернулось, но не бешено – скорее, как лёгкий толчок локтем: «Ты здесь. Всё по-настоящему». За дверью шелестели страницы, кто-то кашлял, кто-то договаривал анекдот, а я стояла и смотрела на табличку рядом с ручкой. «303. Кафедра зарубежной филологии». Та же. Как и в сентябре. Как и всегда. Но я уже не та. И это меня не пугало.

Я вошла. Села на своё место – второе у окна. Оттуда было видно только серое небо и верхушки деревьев. Без птиц. Я чувствовала, как мои пальцы касаются ручки, как скрипит стул, как ворочается соседка сзади – всё это было привычно, обыденно, но сейчас – слишком телесно. Я будто снова оказалась в теле, и тело вдруг начало дышать иначе.

Он вошёл, как обычно – без театра, почти молча. Поставил сумку, достал книги, поднял взгляд. Я увидела в его лице не усталость, нет, привычную сосредоточенность, ту же холодную внутреннюю дисциплину, которая не нуждалась в словах. Но когда его взгляд скользнул по аудитории и на долю секунды задержался на мне – я почувствовала, как внутри что-то отозвалось. Не всплеском, скорее, как будто он узнал. Или вспомнил. Или... что-то понял. Он ничего не сказал. Только открыл книгу. А я подумала: интересно, слышит ли он, как изменился воздух.

Он начал говорить, не оборачиваясь к нам лицом. Просто стоял у доски и объяснял что-то о границах смыслов, об иронии как механизме защиты, о литературе как попытке договориться с болью. Его голос не резонировал, он будто впитывался в стены, в воздух, в меня. Было ощущение, что он не читает лекцию, а дышит словами. Я смотрела на его спину, на его руки, на его ухо, и в какой-то момент уловила, как он медленно поднимает голову, как на миг замолкает, подбирая нужное слово, и в этот миг тишина становилась осязаемой. Я не могла понять, слышит ли он, как я смотрю. Я не могла понять, чувствует ли он, что я здесь уже не как раньше. Не как та, что ловила взгляды, чтобы блеснуть. Не как та, что замирала от его доброй иронии. Сейчас во мне не было игры. Было только ощущение, что мы оба знаем. А что знаем – пока неясно. Но знаем.

Он подошёл к столу и положил перед собой сборник – “Metaphysical Poets”, чуть обтрепанный, с закладками. Я заметила, как он проводит пальцем по строкам – и чуть медленнее, чем нужно, переворачивает страницу. Я знала, как он относится к поэзии. Знала, что это всегда немного больше, чем текст. И когда он начал говорить о Джоне Донне, о том, что «любовь в этой поэзии – не телесна, а почти богословски пространственна», я поняла, что будет дальше.

– Представьте, – сказал он, и его голос стал мягче, – что между двумя людьми существует невидимая нить. И чем дальше они расходятся, тем сильнее эта нить натягивается.

Он сделал паузу, и в этот момент я почувствовала, как напряглась каждая клетка.

– И вот, – продолжил он, – в какой-то момент натяжение становится настолько сильным, что кажется – ещё чуть-чуть, и порвётся. Но оно не рвётся. Потому что эта связь не про расстояние. А про форму. Про то, что ты один – только если тебя не вспоминают. Только если ты не находишься внутри чьего-то движения мысли.

Он не смотрел ни на кого. Но это слышала я. Я – как будто единственная, для кого он сейчас говорил. И от этой мысли стало страшно и спокойно одновременно.

Я отвернулась к окну. Ветки скреблись о стекло. Было ощущение, будто реальность снова тонко подстроилась – не под меня, а под нас. Как будто университет, книги, занавески, чай в термосе – всё это только фон. Только комната, в которой случается что-то другое.

– Марлена, – он произнёс моё имя почти мягко, но всё равно что-то в этом звуке кольнуло. Как будто он знал, что я не смогу не ответить. Как будто он, наоборот, был уверен, что именно я

Я подняла глаза. Он стоял у доски, с книгой в руках, в той позе, которую я уже выучила до мелочей: левое плечо чуть приподнято, пальцы другой руки держат край страницы, будто бы сдерживая поток – и всё же впуская его в комнату. Я встретилась с его взглядом и сразу же отвернулась, не из страха, а потому что если бы не отвернулась — задержалась бы в этом взгляде слишком надолго.

– Скажите, – продолжил он, – как вы понимаете понятие authenticity – подлинности – в поэзии метафизиков? Особенно у Донна. Для него, как и для многих авторов XVII века, важно не только что сказано, но и как. А главное – зачем.

Его голос был спокойным, но в нём чувствовалось: вопрос не учебный. Это не упражнение. Это наблюдение. Исповедь, переданная через чужую поэзию. Вопрос, который он, возможно, задавал и себе. Я сглотнула и всё же заговорила:

– Подлинность, – начала я, – это когда между строчками чувствуется пауза. Не как ошибка или пустота, а как что-то личное, не озвученное. Когда каждое слово не просто отточено, а как будто написано кровью. Или слезами. Или памятью. Когда ты читаешь и знаешь – да, человек действительно это пережил. Или хотя бы чувствовал, что переживает.

Я заметила, как он чуть склонил голову. Как будто принял ответ, но хотел большего. Вдох. Выдох.

– А если человек пережил, – спросил он, – но говорит чужими словами? Если чувства настоящие, а выражение – будто бы поза? Можно ли тогда назвать это подлинным?

Я на секунду замолчала. Я знала, он про это – про разницу между тем, что ты чувствуешь, и тем, как это звучит. Про отчаяние, которое не всегда находит правильную форму. Я медленно сказала:

– Иногда... человек говорит «позой» потому, что иначе не может. Потому что правда внутри ещё не доросла до слов. Или он боится, что, если скажет без украшений, его не поймут. Тогда эта поза становится защитой. Не ложью.

Он смотрел на меня внимательно. Не с вызовом. Не с насмешкой. А как будто я напомнила ему что-то забытое. Что-то, что болит.

– Значит, по-вашему, даже нарочитая форма может быть честной?

– Может, – кивнула я. – Потому что неискренность – это когда ты хочешь казаться. А подлинность – это когда ты хочешь быть. Даже если не умеешь.

Пауза. В ней он не торопился продолжить. Как будто мы вдвоём вышли из общего времени, оставив остальных за стеклом. Мне казалось, что слышно, как кто-то скребёт ручкой по бумаге, как кто-то хрустит фантиком, как кто-то чуть фальшиво кашляет – просто чтобы заполнить тишину. Но для меня она была живой.

Он положил книгу на стол, подошёл к краю кафедры.

– Удивительно, – сказал он негромко, – что даже сегодня, спустя века, мы обсуждаем не просто тексты, а чувства. Не просто авторов, а себя. Потому что, в сущности, литература – это зеркало. Только вопрос: ты в нём себя узнаёшь – или прячешься?

Он снова не смотрел ни на кого конкретно. Но фраза врезалась в меня так, будто это я стояла у доски. Голая. Без защиты. Без шансов солгать.

Я кивнула почти незаметно. Внутри была дрожь, не от страха, а от близости. От того, что он говорил вплотную к моей правде, не называя её. И это было страшнее любого признания.

Потом он говорил ещё о Джордже Герберте, о поэтике внутреннего конфликта, о том, как ритм стиха может быть воплощением борьбы. Его голос снова стал ровным. Почти лекционным. Но я слышала в нём то, что никто, кажется, больше не слышал. Интонации, которые можно поймать только один раз и запомнить на всю жизнь.

Я сидела и думала: вот так, ничего не происходит: мы просто разговариваем, просто лекция, но я будто прикоснулась к чему-то. Или кто-то – ко мне.

Когда прозвенел звонок, большинство студентов как будто вынырнули из сна. Кто-то начал собирать бумаги, кто-то сразу потянулся за телефоном. Шуршание, зевки, шарканье – всё это возвращало реальность, где литература снова была просто предметом. Я осталась сидеть. Лёгкое головокружение от кофе, недосыпа и внутреннего напряжения гудело в ушах. Я слышала, как Ника сказала кому-то: «Жестко, он прям давит текстом, но так, что ты будто хочешь, чтобы он давил». Это была её форма комплимента. Мне почему-то стало почти обидно, но и тепло. Она тоже что-то почувствовала. Хоть что-то.

Я медленно начала собирать вещи. Он уже сложил свои книги, застегнул сумку, и, проходя мимо, вдруг остановился. Не кивнул, не окликнул, просто бросил, как бы в сторону:

– Вы сегодня говорили... по-настоящему. Это редко.

Он не ждал ответа. Просто пошёл дальше.

Я осталась с этой фразой, как с монетой, которую положили в ладонь, и ты не знаешь, что с ней делать. Перевернуть? Потерять? Спрятать под язык?

– Он тебе это специально сказал? – прошептала Ника, подойдя ближе. – Или я уже начинаю всё выдумывать?

– Я не знаю, – тихо ответила я. – Может быть.

Она посмотрела на меня, чуть прищурилась.

– Знаешь, у тебя какое-то странное везение на преподавателей. То один на тебя смотрит, как будто ты стихотворение, то другой цитирует тебя между строк. Тебе бы роман писать, а не научные работы.

Я усмехнулась. Но внутри будто что-то щёлкнуло. От этой шутки. От правды в ней. И от страха – а вдруг действительно?

Мы вышли в коридор. Было прохладно. Я натянула шарф и взгляделась в окно: всё та же серость, тусклый свет, ветви, обросшие инеем. Люди шли мимо. Никто не знал, что во мне сейчас лежит эта фраза. «Вы говорили по-настоящему». И я чувствовала: это не просто он сказал. Это он услышал. Услышал то, что я не сказала. Вечер ещё не наступил, но я знала – он будет долгим.

Я сидела на подоконнике в пустом холле, обмотавшись шарфом поверх куртки, и смотрела, как на стекле тает иней. Была середина дня, но свет казался каким-то вечерним, приглушённым, медовым, будто время свернулось внутрь себя. В наушниках звучал Коэн – низкий, хриплый голос, такой же усталый, как я.

I'm your man – тихо, почти на выдохе, я шептала вместе с ним. Как будто это был не текст, а защитное заклинание, молитва о чем-то, что уже никогда не сбудется. I'm your man – и я вдруг поняла, что мне важно не только то, что он поёт, но и как. Словно каждое слово у него на вес золота. Словно он не сочиняет – а признаётся. И я поймала себя на том, что напеваю это вслух. Почти неслышно. Но вслух.

– Леонард Коэн? – вдруг прозвучало сбоку. Я вздрогнула.

Он стоял метрах в трёх, с чашкой чая в руках, прислонённый к стене. Григорий Михайлович Левин.

– Я... – я почувствовала, как заливаюсь румянцем. – Не думала, что кто-то слышит. Простите.

Он чуть качнул головой.

– Не за что извиняться. Я просто... удивился. Это ведь был Коэн?

– Да, – кивнула я, – I'm Your Man. Я слушаю его часто. Особенно зимой. У него такой... будто бы усталый, но всё равно живой голос. И слова простые, но прямые.

Он смотрел на меня как-то особенно. Не как преподаватель, не как взрослый, даже не как мужчина. А как человек, который вдруг встретил в другом что-то своё.

– Не думал, что студенты знают Коэна. Обычно, если кто-то поёт, то это максимум Florence или Arctic Monkeys. А тут – If you want a lover, I'll do anything you ask me to...

Он сам допел. Чуть тише. И на миг мне показалось, что всё исчезло: коридор, шум аудитории, звонки, даже я сама. Осталось только это странное ощущение – будто мы стоим где-то вне времени, и между нами нет ничего лишнего. Только музыка, и фраза, и два человека, которые знают, о чём поёт этот уставший еврейский баритон.

– Вам он тоже нравится? – спросила я.

– Нравится – не то слово. Он один из тех, кого слушаешь, и сразу ясно: он прожил больше, чем ты. И всё же говорит так, будто переживает это вместе с тобой. Даже сейчас.

Он поставил чашку на подоконник рядом и на секунду замолчал.

– Я рад, что вы его слушаете. Это многое говорит о человеке. Правда.

Я не знала, что ответить. Потому что в такие моменты лучше молчать. Или просто оставить песню доиграть песню, хотя бы в голове.

Он всё ещё стоял рядом, прислонясь к стене. Свет ложился на его лицо скользко, мягко, как в зимних фильмах 70-х: жёлтый, тёплый, не по времени. Он слегка улыбался, но без игры, как будто не хотел вспугнуть этот момент.

– А как вы вообще с ним познакомились? – спросила я. Голос чуть дрогнул, но он не заметил, или сделал вид.

Он посмотрел вдаль, в окно. Морозное стекло отражало коридор, и я на секунду увидела себя в нём – странную, изогнутую, будто нарисованную пальцем по запотевшему зеркалу.

– Я был в аспирантуре, – начал он. – И не спал ночами. Много работал, переводил, писал. Коэн тогда звучал по радио один раз в неделю, ближе к полуночи. Вёл передачу какой-то лондонский преподаватель, говорил про него очень академично, но потом просто ставил песню – и всё замирало. Понимаете, да? Не музыка – дыхание. Как будто кто-то шепчет тебе из другого измерения.

Я кивнула.

– И вы сразу его полюбили?

Он задумался.

– Нет. Сначала не понял. Показался чересчур простым. Но потом – я как-то ехал в автобусе по ночному городу, в наушниках случайно заиграла Famous Blue Raincoat. Я тогда только разошёлся с девушкой, очень сложно всё было. И там... вы помните?

Я не ответила. Просто начала шептать:

– It's four in the morning, the end of December...

Он кивнул.

– Вот. Именно. И я вдруг понял, что это не просто песня. Это письмо. Очень честное письмо, от которого не спрячешься. С тех пор – всё. Он стал частью моей внутренней библиотеки. Той, что на полках не стоит.

Мы оба замолчали.

– А у Вас? – спросил он через паузу. – Почему Коэн?

Я чуть наклонилась вперёд, глядя в окно. Солнце заливало подоконник, но свет был тусклым, пыльный, как в старой фотокамере.

– Мне его дал человек, который когда-то был для меня очень важным. Преподаватель. Он однажды остался со мной после занятия, я тогда была растерянной, не знала, что делать со

своими текстами, с собой вообще. И спросила, как быть настоящей. Не звучать фальшиво. И он... просто сказал: «Послушай Коэна. Он знает».

Я замолчала на секунду. Левин не перебивал.

– Тогда это было странно. Коэн казался старым, чужим. Не моим. Но я включила Suzanne, и в первые секунды мне стало... тепло. Как будто кто-то впервые говорит со мной на языке, который я забыла, но сразу вспомнила. Не навязывает, не учит – он просто рядом.

Он чуть склонил голову, а я продолжила:

– С тех пор я слушаю его каждую зиму. Потому что в его голосе – не только боль, но и нежность. Та, которую редко встречаешь в жизни. Он умеет быть грустным, но не жалким. И это лечит. Это помогает не потеряться в себе.

Я чуть улыбнулась, но быстро опустила взгляд.

– А потом... потом я начала слышать его в людях. В паузах между словами. В чых-то голосах, интонациях. Не так часто, конечно. Но вы сегодня... тоже звучали немного, как он.

Левин чуть замер, будто от неожиданности.

– Я? Как Коэн?

– В манере. В этой тишине между словами. Как будто вы выбираете молчание с таким же вниманием, как другие выбирают речь. Это редко. И я это запоминаю.

Он ничего не ответил. Только посмотрел – долго, неотрывно, почти с вопросом. Не с флиртом. Не с оценкой. А как будто впервые увидел во мне не «студентку», а просто человека, стоящего на том же уровне.

– Спасибо, – тихо сказал он наконец. – Это, наверное... самый личный комплимент, который мне когда-либо делали. Я даже не уверен, заслуживаю ли.

– Неважно, заслуживаете или нет, – ответила я, – просто вы его получили.

Мы оба улыбнулись. Музыка в голове всё ещё играла. И в этой тишине между репликами я чувствовала, как что-то меняется. Медленно, почти незаметно. Но меняется.

Вечером, когда я вернулась домой, тишина встретила меня раньше, чем я успела войти в комнату. Она словно ждала у порога, нетерпеливо перебирая пальцами тени, падающие от окна. Я не стала включать верхний свет – только настольную лампу, чьё мягкое, золотистое сияние разливалось по комнате успокоительное тепло, похожее на прикосновение старого шерстяного пледа, который хранился где-то в шкафу вместе с запахом детства.

Я медленно сняла пальто, повесила его аккуратно на спинку стула и на секунду застыла, прислушиваясь к себе, к тому, что происходило внутри, под кожей, под рёбрами, в той области, где обычно зреет нежность или беспокойство. И сегодня там было не тревожно. Сегодня странно ровно. Не спокойно, нет. Но будто бы кто-то выровнял внутреннее пространство, пригладил душу, убрал острые углы, где обычно цепляется воспоминание, боль, обида.

Я подошла к полке, провела пальцем по корешкам книг и вдруг без раздумий достала блокнот – тот самый, где давно уже не писала ничего настоящего. Он пах бумагой, пылью и чем-то ещё – может быть, первыми письмами, которые никогда не были отправлены. Я села прямо на пол, у окна, подтянула колени к груди и включила Famous Blue Raincoat.

Голос Коэна, хриплый, уставший, как всегда, но сегодня – особенно живой, словно именно сейчас он пел не миллионам, а только мне, только здесь, между книгами и лампой, между паузами и строками, которые я боялась написать.

Я закрыла глаза и позволила себе вспомнить не просто песню, а момент, когда её впервые услышала. Не через наушники, а через голос. Голос Арсения Андреевича. Его интонацию: слегка уставшую, всегда ироничную, но в самые важные моменты – обнажённо человеческую. Он тогда не советовал, он делился. Делился тем, что однажды помогло ему выстоять. И в этом не было позы, не было назидания – только жесткая, почти суровая нежность, от которой защита не поднималась, потому что она не требовала обороны. А теперь этот голос снова звучал. Только уже иначе. Как будто через другого человека. Через Григория Михайловича. И

я вдруг поняла, что этот странный, труднообъяснимый дар – узнавать людей по интонациям, слышать музыку в их молчании, улавливать тепло в едва заметных паузах – он не ушёл. Он остался со мной. И сегодня раскрылся вновь.

Я открыла блокнот и начала писать. Не размышления. Не сочинение. Не исповедь. Просто строку за строкой – как диктовка, не откуда-то сверху, а из самой глубины:

«Некоторые люди входят в твою жизнь как строчка из песни, услышанная однажды и навсегда. Они не требуют, не объясняют, не просят. Просто звучат. И остаются. Сначала в памяти. Потом – в голосе других. И, если тебе повезло, в тебе самой.»

Я дописала, закрыла блокнот, и на секунду мне показалось, что всё остальное неважно. Уроки, разговоры, встречи. Потому что сейчас внутри меня звучала музыка, которая не принадлежала ни одному человеку, но в то же время – сразу двум. И через них – мне.

Я встала, медленно прошла к окну, прижалась лбом к прохладному стеклу. За стеклом мерцали редкие фонари, снежинки плавно оседали на карнизах, будто время стало видимым.

В этот момент я была не влюблённой, не испуганной, не потерянной. Я была настоящей. И этого, возможно, было достаточно.

Через пару часов на экране телефона, трезвонившем уже где-то минут пятнадцать, я увидела контакт «Никуля». Моя подружка зачем-то отчаянно пыталась дозвониться мне – девушке, которая до ужаса боится разговоров по телефону. Но раз уж она старается столь долго, я решила, что смогу пересилить себя. На другом конце послышалось:

– Мара! Мара, ты меня слышишь? Мара! – кричала Ника. Конечно, я слышала, но на фоне нее играла громкая неприятная музыка. – Мара! Приезжай в «Паузу»! Тебе надо отвлечься.

«Пауза» – любимый клуб всех студентов в моем университете. Он находился где-то в центре, и туда всем добираться было одинаково удобно. Я была там лишь однажды и могу с уверенностью сказать, что это место – явно не то, где мне приятно слушать музыку. Я предпочитала винил: сидишь вечером с бокалом вина и сигаретой в одиночестве, наслаждаешься очередным альбомом Дэвида Боуи, и вот тогда действительно понимаешь звучание, слышишь, что хотел сказать артист, или что он хотел, чтобы мы услышали. Клуб – место, где даже нет возможности отдохнуть. Тебе всегда приходится танцевать или пить. А потом возвращаешься домой и думаешь: «Какого черта сейчас происходило?».

Но раз Ника попросила – как я могу отказать этому милому голоску? Сказав, что буду минут через двадцать, я повесила трубку, надела подходящее обтягивающее черное платье, вызвала такси, и поехала к моей подруге.

## 7

Я уже успела упомянуть, что терпеть не могу клубы. Этот раз оказался таким же ужасным, как и предыдущие. Приехав в «Паузу», я приложила все усилия, чтобы найти Нику, но ее не было ни в округе, ни дозвониться до нее не получалось. Музыка грохотала, как война внутри стены, и от неё закладывало уши. Свет мигал с такой навязчивой частотой, что каждый шаг казался кадром из дешёвого клипа. Люди толпились в проходах, пахло перегретыми телами, алкоголем, сладкими духами и чем-то ещё, будто в воздухе плавали недосказанные фразы, смех, стоны и слабое эхо чужой тоски. Я ненавидела быть здесь одна. Как будто кто-то вырвал меня из текста и вставил в глянцевую картинку без сюжета. Я медленно двинулась вдоль бара, стараясь не задевать плечами танцующих. Каждый раз, когда кто-то касался меня, даже случайно, я вздрагивала – не от страха, скорее, от неприязни. Ника, как всегда, умудрилась не взять трубку именно тогда, когда я почти готова была развернуться и уехать.

– Мара? – вдруг раздалось сбоку, и я обернулась.

Передо мной стояла Виолетта – в коротком черном платье, но с лицом, которое никак не вязалось с клубным антуражем. В её взгляде была концентрация, свойственная человеку, читающему Платона не ради экзамена, а чтобы понять, зачем вообще живут люди. Она была младше меня на три или четыре года, но всегда казалась какой-то... устроенной. Как будто внутри неё уже давно выстроился прочный дом, в котором нет ни одного лишнего предмета, но есть запас книг, одиночества и чёрного юмора.

– Я знала, что ты ненавидишь клубы, – сказала она, чуть склонив голову. – Но всё равно пришла. Это делает тебя либо героиней, либо мазохисткой.

– Пока не решила. Где Ника?

– Где-то в недрах танцпола, растворилась в цветах и алкоголе. Ты же понимаешь, это её родная среда. А я как всегда, на случай, если кто-то сбежит.

Я усмехнулась.

– Ты и есть мой план побега, вообще-то.

– Тогда, – сказала она, кивая в сторону барной стойки, – давай начнём с напитков и циничных разговоров. Хотя бы ради того, чтобы не чувствовать себя в зоопарке.

Мы прошли к бару, я села рядом с ней, и в этот момент впервые за вечер почувствовала, что, возможно, не всё потеряно. Виолетта не спасала – она просто была рядом, как голос в голове, только внешний. И иногда – это всё, что нужно.

Виолетта всегда казалась мне тем редким человеком, который пришёл в мою жизнь не случайно, не по времени, не по обстоятельствам, а как будто был заранее вписан в мой маршрут, ещё до того, как я сама узнала, куда иду. Мы виделись нечасто, иногда могли не писать друг другу неделями, но каждый раз, когда я встречалась с ней взглядом или слышала её голос, у меня внутри что-то возвращалось на место. Не как после разговоров с Никой, которая была огнём: ярким, порывистым, прожигающим до дна, но часто на поверхности. С Виолеттой было иначе. Она была похожа на воду – не бурную реку, нет, а ту, что уходит глубоко в почву, питает корни, даёт жизнь, не требуя благодарности. Её мудрость была не показной, не книжной – скорее, интуитивной, природной. Она не играла во взрослую, не бросала афоризмы, не прикидывалась кем-то. Просто говорила вещи, от которых ты вдруг понимала, что не знаешь себя до конца. Я часто думала, что если бы мне пришлось назвать одного человека, с которым я чувствую себя настоящей, без масок, без желания быть понятым, без стремления понравиться – это была бы она. В ней не было ни зависти, ни требовательности, ни суеты. Она могла слушать часами, и при этом не казаться жертвой. Могла молчать, и её молчание не пугало. А ещё – она принимала мои странности без попытки рационализировать их. Я не знала, как она это делает: быть младше и при этом не уступать никому в проницательности. Мне казалось, что она

вообще родилась с каким-то знанием, которое другим даётся через боль, через годы, а ей – просто так. Как внутренний дар. Как чистый слух, только не музыкальный, а душевный. Ника часто смеялась, что Виолетта – «маленькая ведьма», и в этом было что-то точное. Потому что с ней я действительно ощущала себя как под заклинанием: спокойной, собранной, чуть уязвимой, но почему-то – сильнее. Она была не подругой по внешнему совпадению, она была внутренним зеркалом, в котором я отражалась точнее, чем где бы то ни было. Иногда мне становилось не по себе от того, насколько она видела меня, как будто читала между строк даже те страницы, которые я ещё не написала. Она могла ничего не спрашивать, но один её взгляд вызывал во мне желание рассказать всё, даже то, чего я стыдилась, даже то, в чём не признавалась себе. Рядом с ней невозможно было играть роль – не потому, что она осуждала, а потому, что фальшь сгорала сама по себе. И всё же, иногда, после особенно глубоких разговоров с ней, я чувствовала странную усталость, будто оголилась слишком сильно, будто открыла доступ туда, куда не должна была. Я не знала, откуда в ней эта сила, но она пугала так же, как восхищала. И ещё – с ней было сложно быть «просто лучше». Виолетта не соревновалась, но её внутреннее спокойствие ставило рядом с собой любое беспокойство под вопрос. Я не завидовала ей – это было бы глупо, потому что завидовать человеку, который никогда не пытался быть выше, просто невозможно, я ей восхищалась. Иногда ловила себя на желании быть ею. Хотя бы на минуту. Просто чтобы понять, как это – жить без дрожи внутри, без постоянной попытки заслужить чью-то любовь, чьё-то внимание, чьё-то «да, ты хорошая». Она принимала меня такой, какая я есть, и, возможно, именно поэтому я чувствовала себя рядом с ней по-настоящему живой. Не яркой, не блистательной, не лучшей, а просто живой. И, наверное, только рядом с ней я по-настоящему понимала, как это – когда близость не требует ничего взамен.

Мы сели у барной стойки, и Виолетта сразу заказала что-то острое и сладкое, даже не спрашивая, буду ли я. Она просто поставила передо мной бокал и спокойно сказала:

– Знаю, что ты скажешь «не хочу». Но всё равно – выпей.

Я усмехнулась, отпила немного и поморщилась.

– Это что?

– Текила с гранатовым сиропом. Почти как жизнь. Обжигает, но красиво.

Мы помолчали. Музыка редела, но возле бара было чуть тише, как в глубоком колодце. Люди вокруг двигались рвано, ярко, как фрагменты чужой галлюцинации.

– С тобой что-то происходит, – сказала она, не глядя на меня. Просто держа в руке бокал и поводя пальцем по краю. – Я чувствую это с тех пор, как ты ответила на звонок Ники. И даже раньше. По голосу. По паузам.

– Всё, как всегда, – пожалала я плечами. – Чуть-чуть надлом. Чуть-чуть романтизации одиночества. И, конечно, таинственный взрослый мужчина, от которого я пытаюсь убежать, потому что в этом и есть мой стиль жизни.

Она хмыкнула.

– Знаешь, если бы кто-то другой так сказал, я бы решила, что это сарказм. Но ты ведь так живёшь по-настоящему.

– Это диагноз?

– Нет. Это твой способ чувствовать. В тебе что-то постоянно ищет подтверждение: что ты не пустая, не случайная. Что ты вообще существуешь. Только ты почему-то ищешь это в тех, кто не должен ничего обещать. Кто сам живёт на краю.

Я молчала. От её слов не становилось больно, но становилось ясно. Как будто кто-то навёл фокус.

– Ты всегда была пугающе точной, Вилу, – сказала я. – Иногда мне хочется, чтобы ты ошибалась.

– Я иногда ошибаюсь, – вздохнула она. – Например, когда думаю, что ты не вернёшься в ту же ловушку. А потом вижу, что возвращаешься, только с другим именем на двери.

Она повернулась ко мне и вдруг улыбнулась тепло, по-настоящему.

– Но я всё равно тебя люблю. Даже когда ты сама себе враг.

Я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. Не боль, не грусть – узнавание. Как будто кто-то назвал меня по имени, которого я сама давно не произносила.

– Спасибо, – только и смогла сказать я.

– Ну а теперь, – Виолетта резко встала, – пойдём, я покажу тебе, как танцует философская ведьма.

Я рассмеялась. И впервые за долгое время не потому что надо, а потому что захотелось.

Где-то после четвертого бокала и смеха Вилу и Ники где-то на фоне, я поняла, что меня предательски начинает мутить. Музыка стала не просто громкой – она давила изнутри, как будто билась у меня в груди вместе с сердцем. Лица вокруг расплывались, их рты открывались и закрывались беззвучно, как рыбы в аквариуме. Я хотела найти подруг, но толпа сжалась так плотно, что я потеряла их в этом живом, пахнущем потом и сладким алкоголем муравейнике. Я на мгновение закрыла глаза, попыталась сделать глубокий вдох, но в лёгкие будто не вошёл воздух. Под ногами качнулось. Я ухватилась за спинку какого-то барного стула, но он был скользким, ушёл из-под рук, и я пошатнулась.

– Осторожнее, – сказал кто-то очень спокойно. Рука, большая, тёплая, с чуть заметными жилами, легла мне на плечо, не сильно, но твёрдо. Я подняла глаза и увидела мужчину: высокий, в серой рубашке с закатанными рукавами, чуть небритый, глаза светлые, внимательные. Не хищные, не оценивающие, просто внимательные. И очень большие.

– Вы в порядке? – спросил он, склоняясь чуть ближе, но не нарушая границу, только чтобы перекричать музыку.

– Кажется, не совсем, – прошептала я. Голос показался чужим, надтреснутым.

– Здесь слишком душно. Пойдёмте, я проведу вас на улицу. Подышим.

Он подал мне руку — уверенно, но без давления. Как человек, который просто знает, как вести себя, когда рядом кто-то слабее. Я послушно пошла за ним сквозь толпу, в которой всё ещё маячила где-то Виолетта с бокалом, смеющаяся, но уже слишком далёкая.

Мы вышли к дверям, и холодный воздух ударил в лицо, словно вернул к жизни. Я прислонилась к стене, сделала несколько быстрых вдохов, почувствовала, как лоб начинает покрываться потом.

– Спасибо... – выдохнула я. – Я... не очень привыкла к такому.

– Это видно. – Он чуть улыбнулся. – Такие клубы для других людей. Для вас, думаю, больше подошла бы тихая кофейня. Или книжный магазин. Или музей. Где всё медленно.

– Откуда вы знаете?

– Потому что вы не тот человек, кто приходит сюда искать что-то для себя. Вы здесь ради кого-то другого. Это всегда видно.

Я хотела что-то ответить, но он уже протянул мне бутылку воды — видимо, взял с собой заранее. Я сделала несколько глотков, и вода показалась самой вкусной в жизни.

– Янек, – сказал он вдруг. – Смешное имя для вашего города, знаю. Я здесь по работе. Тридцать восемь лет, женат. Два кота и сад. Это не дурацкий подкат. Просто... хочу, чтобы вы знали, кто стоит перед вами.

Я чуть улыбнулась.

– Мара. Называй меня Мара. Именно эта форма имени, образовалось от Марлены. А это Мария и Магдалена. Восемнадцать лет. Живу больше в голове, чем в мире. Не люблю клубы. И, наверное, да – лучше подошёл бы музей.

Он рассмеялся. Но это был тихий, взрослый смех, без всего того, что обычно заставляло меня насторожиться. Без дешёвого лукавства, без той лёгкой охоты в глазах, которую я так часто видела в других. Его смех не говорил «я что-то хочу от тебя», он скорее звучал как «я рад, что мы оба оказались здесь, в это странное время, в этой точке, где наши дороги пересеклись».

хоть на миг». И от этого мне стало чуть легче. Как будто вокруг нас внезапно образовался прозрачный пузырь, в котором не было никакой клубной грязи, никакой липкой влажной жары, ни орущих чужих желаний – только двое людей, случайно встретившихся на коротком перепутье.

Он немного откинулся назад, глядя куда-то в сторону, словно хотел дать мне пространство, не слишком близко, но и не холодно.

– Знаете, Мара... вы напоминаете мне тех людей, которых встречаешь один раз, а потом почему-то помнишь всю жизнь. Даже если так и не узнаешь о них ничего настоящего. Просто потому что они в какой-то момент совпали с твоей собственной пустотой. Заполнили её, хоть на минуту.

Я не сразу нашла, что ответить. Его слова были такими простыми, безыскусными, но в этой простоте была какая-то оглушающая правда, от которой у меня чуть пересохло во рту.

– Может, мы все такие друг для друга, – сказала я, чуть тише, – просто кто-то это замечает, а кто-то проходит мимо.

Он снова чуть улыбнулся, но теперь уже не рассмеялся. Посмотрел прямо на меня – взглядом, в котором было и тепло, и что-то почти бережное, как если бы он держал в руке хрупкий предмет и знал: при малейшей неловкости может сломать.

– Берегите себя, Мара, – повторил он. – Мир не такой большой, как кажется. А такие люди, как вы... они почему-то всегда живут у меня где-то под сердцем, даже если я больше их никогда не встречаю. Жаль, что и мы с вами больше не встретимся.

Эти слова остались висеть между нами, чуть дольше, чем было бы удобно. Потом он легко коснулся моей руки – на секунду, не дольше дыхания – и ушёл обратно в свет, в музыку, в тепло чужих тел и голосов. Оставив меня стоять в холодном коридоре на границе улицы и клуба, где внезапно пахло чем-то очень настоящим, будто мокрой землёй после долгой жары.

И мне показалось, что пусть даже я действительно больше никогда его не увижу, но этот миг останется со мной навсегда, потому что был не про него и не про меня, а про ту редкую ясность, когда два совершенно посторонних человека вдруг понимают друг друга до самого дна, не имея на это ни права, ни объяснений. Я хотела сказать: «Вы слишком уверены, что мы не встретимся снова». Но только кивнула, спрятав это внутри себя, как маленький секрет. Почему-то была уверена, что это не последняя точка. Может, он исчезнет из моей жизни на годы, может, навсегда, но внутри уже теплилось странное, неосознанное чувство, что он ещё вернётся. Пусть даже не он – а сам этот миг, где было просто хорошо и не страшно.

А я осталась у стены, с бутылкой воды, чуть сбившимся дыханием и странным спокойствием в груди. Как после сна, который долго помнишь не потому, что он яркий, а потому что в нём тебе впервые стало легче дышать.

Я постояла у стены ещё какое-то время, чувствуя, как холод медленно унимает жар в щеках, а сердце возвращается к привычному ритму. Мир снова обрел свои очертания: фонари, редкие машины, дверцы, хлопающие где-то неподалёку, голоса людей, которые жили совсем другими жизнями. Всё вокруг было так обычно, что мне даже захотелось засмеяться – от облегчения, от усталости, от этой странной, почти лёгкой пустоты внутри. Я посмотрела на дверь клуба. Там, внутри, всё ещё были Ника и Виолетта. Наверное, смеялись, пили что-то дерзкое, как их разговоры, танцевали в мерцающем полумраке и вовсе не думали, куда я подевалась. И мне вдруг стало ясно, что нет смысла возвращаться за ними, искать, говорить что-то напоследок. Не потому, что я обиделась или устала, а просто потому, что прощания в такие моменты только мешают. Они делают обычное расхождение драмой, которой здесь не было. Был вечер, был Янек, был лёгкий холод на губах, была я сама – живая, трезвая от этой минутной близости, и чуть сильнее, чем пару часов назад.

Я подтянула шарф к подбородку и двинулась в сторону остановки. Шла медленно, позволяя шагам звучать на пустом тротуаре громче, чем всё, что было в клубе. Там остались музыка, смех, дым. Здесь начиналась ночь – ровная, чёрная, почти ласковая. Я шла домой без оглядки.

Не проверяла телефон, не искала сообщений от Ники, не думала, что скажет Вилу. Мне вдруг захотелось, чтобы эта ночь стала моей, без свидетелей, без объяснений. Пусть даже немного одинокой, но зато честной.

Когда я подошла к дому, было так тихо, что я впервые за весь день услышала собственное дыхание. И в этом звуке не было больше тревоги. Только я. И может быть, этого уже было достаточно.

## 8

День тянулся лениво, словно кошка, развалившаяся на подоконнике и лениво перебирающая лапами в солнечном пятне. Я ходила по квартире, босиком по холодному полу, то заваривала чай, то возвращалась к книжным полкам, словно хотела что-то найти, но сама не знала, что. Взяла с полки конспекты, пролиставала, и вдруг наткнулась на чужой почерк – короткая пометка, сделанная Арсением Андреевичем тогда, когда он ещё правил мои сочинения. Строчка была банальной, но почерк был его, и этого хватило, чтобы внутри всё стало тоньше, как стекло, на котором выступил морозный узор. Я быстро захлопнула тетрадь, убрала её под стопку других бумаг, словно пряча какое-то неловкое, слишком обнажённое место в себе. Сделала глубокий вдох, вышла на кухню. Поставила чайник, облокотилась на стол и закрыла глаза. Комната жила тихой, доброй жизнью: часы тикали, холодильник время от времени вздыхал, с улицы доносился редкий звук машин. Но внутри всё равно было тревожно, как перед долгой дорогой.

Когда чайник зашипел, я машинально налила воду в кружку и так и не стала пить. Просто держала её ладонями, будто пыталась согреться изнутри. В какой-то момент поняла, что смотреть на стены больше невыносимо. Решила выйти хотя бы за хлебом – просто чтобы ноги шли, чтобы улица сменила замерший воздух комнаты. На лестнице пахло пылью, чьими-то чужими куртками и слабым, еле заметным запахом табака. Я всегда задерживала дыхание, проходя эти пролёты, как будто боялась вдохнуть чужую жизнь.

На улице было сыро и серо, в воздухе витал запах земли, чуть намокшей листвы и ещё чего-то едва уловимого, как запах мокрого железа. Я шла медленно, руки в карманах, стараясь думать о пустяках: о витрине кондитерской, о собаке на поводке, о мусорном баке, на котором кто-то нарисовал смешного человечка.

И вот, когда я почти дошла до магазина, раздалось сзади:

– О, привет.

Голос был чуть громче, чем надо, и слишком уверенный. Я обернулась, и внутри что-то сразу съежилось. Это был Юра. Он стоял на бордюре, одетый в тёмную куртку, руки в карманах. Он выглядел так, будто и не помнил толком, что тогда произошло. Будто та сцена в вузе с Левиным, с его чуть хищным холодным взглядом, когда он мягко, но безапелляционно отделил меня от Юры, – будто всё это было ничем не значащей мелочью.

– Ты что-то совсем пропала, – сказал Юра и чуть пожал плечами. – Думал, может, обиделась. Или Левин мне башку открутил за то, что подошёл к тебе.

Он усмехнулся – лёгкая, почти беззаботная усмешка. Но у меня от этой усмешки сжались пальцы в карманах. Было ощущение, что он снова пытается приблизиться.

– Нет, – сказала я слишком быстро. Голос прозвучал тонко, неуверенно, и мне самой стало неприятно от его звучания. – Всё нормально.

– Ну и хорошо, – сказал он и чуть наклонился ко мне, будто заговорщически. – А то я уже начал думать, что из-за меня твой Григорий Михайлович теперь со всеми так. Он умеет так смотреть, будто на месте тебя уже нет.

Мне стало неудобно от того, как он произнёс «твой». Я сделала шаг вбок, словно хотела дать ему больше пространства, но в итоге просто врезалась плечом в стенку рекламного щита. Он коротко рассмеялся – слишком легко, без настоящего веселья. И это было хуже любой серьёзности.

– Ладно, – сказал Юра, чуть отступив. – Не буду тебя задерживать. До встречи, Марлена.

Я кивнула, не глядя на него, и быстро пошла вперёд. Сердце стучало в груди так громко, что я не слышала свои шаги. В какой-то момент пришлось остановиться, сделать медленный вдох, чтобы не заплакать прямо посреди улицы. От стыда? От раздражения? От какой-то лип-

кой, мерзкой смеси. Когда я наконец зашла в магазин, мои руки чуть дрожали, пальцы казались чужими. Я машинально взяла хлеб, протянула деньги, даже не взглянув на кассира. На обратном пути всё время оборачивалась, как будто он мог снова стоять там. Но улица была пуста, а город казался слишком большим и слишком равнодушным, чтобы хранить хоть что-то маленькие тревоги.

Дома я сразу прислонилась лбом к двери, прикрыла глаза и долго стояла так, пока дыхание не стало ровнее.

Я легла на диван прямо в пальто, не раздевшись, даже не развязав шарф. Было странно ощущать, как ткань давит на шею, будто напоминает, что можно в любой момент задохнуться – или наоборот, что пока горло обвязано, ты здесь, ты материальна. Телефон лежал на груди, чуть холодил сквозь пальто. Я слышала, как он тихонько вибрирует, когда приходили уведомления от каких-то рассылок, но не смотрела.

Потом всё-таки открыла экран, нашла чат с Виолеттой. Её маленькая аватарка – лицо в пол-оборота, чуть размытое, почти как у привидения. Захотелось написать, даже не обдумывая слов. Просто ткнуть пальцами в клавиатуру и пусть уже будет.

– Я только что встретила Юру.

Отправила и сразу зажмурилась, словно от яркого света. Как будто одно это сообщение уже было слишком. Ответ пришёл быстро.

– И? Ты в порядке?

Я уставилась в потолок, снова почувствовала, как чуть дернулась мышца на щеке.

– Да. Наверное. Он улыбался так, будто ничего не было. Никогда.

Как будто тот раз – это я что-то не так поняла. Что всё тогда вообще было не так страшно. Что это я придумываю.

– Не придумывай.

Он обязан был понимать границы. Он обязан был быть человеком. Ты не обязана тогда ничего «понять». Я читала эти слова и вдруг почувствовала, как горло сдавило, но не так, как от шарфа. По-настоящему. Как если бы туда положили горячий камень.

– Ты знаешь... иногда я сама себя убеждаю, что всё преувеличила. Что он же ведь даже... ну, не успел ничего совсем сделать. Что, может, я и правда слишком заточена под трагедии.

Было страшно писать это. Страшно и одновременно необходимо вынуть наружу то, что гнило где-то между рёбер.

Виолетта молчала чуть дольше, чем обычно. Я представила, как она сидит у себя дома, может, на полу у книжной полки, с тем своим взглядом, который видит сквозь стены и людей.

И потом пришло:

– Марлен. Не говори так. Он сделал ровно столько, чтобы тебе стало страшно от одной его улыбки на улице. Чтобы сердце колотилось, а руки были холодные. Этого уже достаточно, чтобы не искать в этом твоей вины. Даже в мыслях.

Я зажала телефон между ладонями, прижала его к губам, словно хотела поцеловать через экран – не Виолетту, а сам этот момент, когда меня кто-то понимает так ясно.

– Спасибо. Ты всегда умеешь разогнать всех моих внутренних адвокатов. Они такие убедительные обычно. Шепчут, что я сама полезла, сама стояла слишком близко, сама выглядела так, что можно было подумать что угодно.

– Мара. Ты могла стоять как угодно, смотреть как угодно, хоть раздеться посреди улицы и читать Бодлера вслух. Он всё равно должен был знать, что значит «нет». И что значит твой страх. Ему достаточно было просто быть человеком. А не быть тем, кем он стал.

Горло снова сдавило, на этот раз – от слёз. Я почти слышала, как они поднимаются где-то изнутри, из тёплой глубины живота, и подходят к глазам.

– Я так не хочу быть всё время такой хрупкой. Мне иногда кажется, что снаружи я уже нормальная, взрослая, циничная. А внутри всё так же мягко. Как гнилое яблоко, чуть надавишь – и провалишься.

– И оставайся мягкой. Не надо становиться железной только потому, что кто-то когда-то посчитал твою мягкость приглашением. Ты не обязана менять себя, чтобы кто-то не тронул. Пусть они учатся не трогать.

– Мне иногда кажется, что ты умеешь колдовать. Потому что после твоих слов внутри становится не пусто, а чуть теплее.

– Я умею. И буду колдовать, пока тебе это нужно. А потом просто буду рядом, даже без слов.

Я выдохнула так медленно, что на секунду закружилась голова. Потом разжала руки, положила телефон на грудь, закрыла глаза и позволила этим словам расплзтись по всему телу: от плеч к локтям, от локтей к ладоням, от горла к солнечному сплетению.

И впервые за весь этот день, и за многие до него, почувствовала, что, может быть, я не сломана. Просто очень, очень настоящая.

Я вошла в ванную и сразу включила свет. Он был слишком ярким, резал глаза, как будто безжалостно освещал всё то, что так удобно пряталось в полумраке комнаты. Я чуть прищурилась, подошла к раковине, открыла кран и подставила ладони под холодную воду. Она текла медленно, обтекая кожу, как что-то живое и равнодушное. Наклонилась, зачерпнула воду, прижала к лицу, задержалась так чуть дольше обычного. Как будто пыталась не просто умыться, а смыть с себя весь сегодняшний день: липкий голос Юры, свои же собственные мысли, которые всегда умели царапать лучше любого чужого слова. Подняла голову и посмотрела в зеркало. Там была я – растрёпанная, с покрасневшими веками, чуть взъерошенной чёлкой, губами, на которых почему-то остался след укуса. И вдруг в этом отражении промелькнуло что-то старое. Не совсем образ, скорее, ощущение. Как тогда, в ту зиму, когда я сидела в этой же ванной на полу и слишком долго держала лезвие в руке. Не чтобы умереть – нет. Тогда я просто хотела хоть чем-то подтвердить, что внутри ещё есть что-то острое, живое, что ещё могу чувствовать боль не только изнутри. Я провела пальцами по запястью. Там уже давно ничего не было видно – всё зажило, кожа ровная, тёплая, даже немного гордая своим здоровьем. И мне стало вдруг почти хорошо. Потому что я стояла здесь, вся целая, пусть и уставшая, пусть всё ещё с мягкостью внутри, которая иногда болит так, словно это открытая рана. Но я стояла., смотрела на себя, не отворачивалась. «Ты справишься», – подумала я. Не как обещание или героическая декларация, а просто как тихий факт. Как что-то, что существует само по себе. Как вода, которая всегда льётся вниз, даже если ты перестанешь верить в гравитацию. Я вытерла лицо полотенцем, погладила себя по плечу, будто чужой, но доброй рукой. И выключила свет, оставив ванную пустой и спокойной. Такой же, какой я хотела стать сама.

Телефон зазвонил, когда я уже собиралась залезть под плед с чашкой горячего чая. На экране высветилась Виолетта. Странное, почти комическое ощущение, будто в тишине квартиры раздался смех.

– Ты жива там после нашей переписки? – спросила она вместо приветствия, и в этих словах было столько узнавания, что я сразу выдохнула.

– Почти, – ответила я. – А что?

– Слушай, я тут мимо твоего дома прохожу. И вдруг поняла, что давно хочу съесть тёплый круассан с маслом в «Мон Мартре». Ты идёшь со мной.

– Это приказ?

– Это забота. И на самом деле, я не случайно прохожу мимо дома. Я приехала.

Она говорила легко, но в голосе было что-то чуть настойчивое, что не позволило мне отказаться.

И я вдруг поняла, что хочу не просто выйти – хочу выйти именно с ней, в этот её смешной, нарочито театральный мир, где всё делится на красивые десерты и красивые трагедии. Мы сидели во французской пекарне за крохотным деревянным столиком, над которым висела лампа с жёлтым абажуром. От неё свет ложился мягкими кругами на наши руки и чашки с кофе. В витрине на нас глядели миндальные круассаны и бриоши с крупным сахаром.

Виолетта откусила круассан и довольно прикрыла глаза.

– Знаешь, я всё-таки люблю смотреть на тебя, когда ты вот так сидишь и просто живёшь, – сказала она неожиданно. – Без твоих вечных «смыслы», «страхи», «будущее». Просто ты, кофе и корица.

– Мне кажется, это потому, что тут пахнет детством. Или Парижем, которого у меня никогда не было. – Я улыбнулась, глядя на маленькие крошки, рассыпавшиеся на стол. – Ты же ведь моя ведьмочка. Притащила меня сюда, чтобы расколдовать.

– А ты думала, зачем я вообще в твоей жизни?

Она улыбнулась, но глаза у неё были чуть грустнее, чем хотелось бы. И в эту секунду я поняла, что она всегда чуть грустнее, даже если шутит.

Мы пили кофе медленно, словно растягивая короткий праздник, на который нас пустили без билета. Виолетта говорила что-то о книгах, о своей новой преподавательнице философии в школе, которая читает Канта с таким видом, будто рассказывает сплетни. Я слушала её и вдруг почувствовала, как во мне что-то оттаивает, течёт теплее, становится не таким острым. Когда мы вышли на улицу, воздух был свежим, пахло мокрым асфальтом и чем-то чуть сладким – то ли сигаретами с ванильным ароматизатором, то ли выпечкой, которую кто-то нёс домой в бумажном пакете. Мы обнялись, коротко, но крепко. Виолетта сказала:

– Ты ведь знаешь, да? Что даже если всё вокруг снова рухнет, я буду рядом.

– Знаю, – ответила я. – И за это мне чуть менее страшно жить.

Я пошла по улице одна, чувствуя, как в груди дышит лёгкая, прозрачная радость. Шла, не глядя особо вперёд, пока вдруг не заметила стоящую у тротуара машину. Она была непримечательной – тёмно-коричневой, с немного запylёнными фарами, но мне показалось, что я знаю её силуэт. И когда я подняла глаза, то увидела Левина. Он стоял, чуть склонившись над телефоном, что-то печатал, потом поднял взгляд. Наши глаза встретились. И в этот миг весь мир, полный запахов круассанов, кофе и вечерних фонарей, стал вдруг тихим и плотным, как густая ткань. Он посмотрел на меня чуть дольше, чем позволялось: без улыбки, без вопросов, просто так, будто видел то, чего не видела даже я сама. Я сглотнула, не зная – остановиться или идти. А он просто кивнул. Лёгкое движение головы, почти невесомое. Но от него по спине побежал холодок, словно кто-то провёл пальцем вдоль позвоночника.

Я шагнула дальше, чувствуя, как колени чуть подгибаются, и только когда свернула за угол, позволила себе выдохнуть: долго, шумно, почти с лёгким смешком, в котором было больше растерянности, чем веселья.

Когда я вернулась домой, квартира встретила меня чуть затхлым теплом. Было ощущение, что она всё это время ждала меня, не двигаясь, тёплая, тихая, но какая-то чуть обиженная. Я поставила пакет с хлебом на кухонный стол, сняла пальто и долго возилась с шарфом, пока не заметила, что руки дрожат. Совсем чуть-чуть, но всё равно заметно. Я подошла к раковине, налила себе воды, сделала пару глотков. Холодная вода обожгла горло, и это почему-то вернуло меня к тому, как он посмотрел на меня – так спокойно, почти невидимо, но всё-таки слишком прямо, так, как не должен смотреть человек, который для тебя просто преподаватель. Я прислонилась к шкафчику, обняла себя за плечи, стараясь сжаться в что-то меньшее, чем есть. Потому что в полную величину меня почему-то сейчас было страшно оставаться.

«Я же думала, что уже выросла из этого. Что всё. Что больше не дрогну от взгляда. Что научилась быть своей, а не чьей-то фантазией.»

Но стоило увидеть Левина, всего на пару секунд, как во мне будто распустился старый, забытый цветок. Скользкий, с терпким запахом. Не радость и не страх, а что-то между. Как дрожь перед тем, как войти в холодную воду. Я пошла в комнату, села на кровать. Стянула носки, подтянула ноги к груди. Включила телефон, посмотрела на его чёрный экран, где отразились мои глаза. И подумала, что это самое честное зеркало: когда не видно ни одной складки, ни одного пятнышка, только чёрные круги, в которых я вся.

«Всё равно он во мне. Не как любовь, не как боль, а как какая-то возможность. И это, наверное, страшнее всего. Потому что возможность – это всегда то, что может случиться.»

Я закрыла глаза и тихо вдохнула.

«Но если даже так – я сильная. Теперь точно. Теперь хотя бы знаю, что могу жить и с этим тоже.»

И в этой полутьме комнаты, где где-то капала вода из плохо закрученного крана, а за окном скрипели чьи-то шаги по мокрому асфальту, мне вдруг показалось, что я всё-таки стала больше, чем была. Даже если сейчас дрожу. Даже если всё ещё чуть хрупкая. Потому что в этот раз я сама держу себя за плечи. И сама остаюсь.

И всё-таки, как бы я ни пыталась уверить себя в обратном, где-то глубоко внутри всё ещё живёт та девочка, которая хочет, чтобы её выбрали. Не просто посмотрели, не просто заметили, а выбрали, вырвали из толпы, назвали своей. И пусть это опасно, пусть это делает меня уязвимой, я не могу вырезать это из себя без остатка. Наверное, это и есть то, что остаётся даже после всех испугов, после всех ночей, когда клянешься, что больше не дашь никому так приблизиться. Ты всё равно остаёшься той, кто ждёт. И, может быть, в этом тоже есть что-то живое. Потому что ждать – значит верить, что что-то ещё может случиться.

## 9

Я шла по тихой улице, где старые липы отбрасывали на асфальт дрожащие тени. Было жарко, но тень казалась холодной, почти влажной, как чьё-то дыхание на коже. Сердце билось неровно – то ускоряясь, то замирая, будто в ожидании чего-то важного и необратимого. Мы договорились встретиться с Арсением Андреевичем в небольшом кафе у театра. Я пришла чуть раньше, села за стол у окна и несколько минут смотрела, как прохожие, похожие на фигурки в старом фильме, бесцельно двигались мимо. Когда он вошёл, я сразу почувствовала, как что-то внутри меня сжалось и раскрылось одновременно. Он выглядел усталым, но глаза его светились, когда он меня увидел. Он кивнул официанту, подошёл и легко коснулся моей руки – этот почти случайный жест почему-то пробежал током по всему телу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.